

Надежда  
Чернова



## ЛЕТЯЩИЕ В ТУМАНЕ

(Весёлые мемуары)

МИРАЖ

### В плену мистики

Мираж продолжал являться мне во сне и наяву, но едва я начинала фантазировать о любви с ним в жизни – после брака с Мирабо я уже не грешила, а в фантазиях грешила – и вот, едва начинала сочинять картины любви, немедленно случались какие-то катаклизмы: землетрясение, крушение самолётов, наводнение и тому подобное. Ерунда, конечно, случайное совпадение и глупое суеверие, которого я стыдилась, но всё-таки... Всё-таки даже самые трезвомыслящие поэты – мистики. Может, оттого, что в одно ухо нам дышит Бог, а в другое – дьявол. И моё представление о себе как о роковой женщине (в молодые годы) – из той же, мистической, области. Даже вспоминать смешно, как мне нравилась эта роль и как она тешила моё женское самолюбие:

*«Не слушай меня – я сирена! / Пусть воск твои уши зальёт, / Пусть брызжет солёная пена, / Пусть гневная бездна ревёт, / Пусть рыщет заоблачный ветер, / Сдвигая в морях острова – / Пусть всё заглушает на свете / Мои роковые слова!»*

Так же «развлекалась» ролью роковой женщины и Анна Ахматова, веруя в смертельную силу своего слова:

*«Я гибель накликала мильм, / И гибли один за другим. / О, горе мне! Эти могилы / Предсказаны словом моим. / Как вороны кружатся, чуя / Горячую, свежую кровь, / Так дикие песни, ликуя, / Моя насылает любовь...»*

Любимый мой Пушкин тоже был мистиком. Это же всем известно: когда он рванул из Михайловского, из ссылки, в «самоволку» – в зимний Петербург, чтобы встать рядом с декабристами на Сенатской площади, то с полпути повернул повозку назад, потому что дорогу ему перебежал заяц. Смешно ведь? И сам потом не поверил в деревенское суеверие, но уже свернул, уже переменял свою судьбу. И ещё – запомнил предсказание гадалки: будет ему погибель от белой головы или белого коня, и как-то тут будет замешана жена. Трезвомыслие заставляло

Продолжение. Начало в №7-8, 2020.



проверить и опровергнуть гадание или переспорить неизбежность. Он поздно женился, но был печален перед свадьбой. Намеренно скакал на белых лошадях, хотел поехать в Польшу, воевать против бунтовщика по фамилии Вайскопф, что как раз и означает – «Белая голова». Но ехать никуда не пришлось: «белая голова» оказалась под боком – белокурый повеса Дантес. Пушкин встречался с ним в петербургских салонах, он даже нравился поэту своим озорством, лёгкостью – таким был и сам Пушкин. Дантес прыгал по столам, ронял голову на плечи дам, и ему всё прощалось. Пушкин с восторгом писал о нём отцу, называя Дантеса «добрым малым», пока этот «добрый малый» не стал волочиться за Натали Пушкиной, пока не появились грязные пасквили...

И вот пасмурный зимний день, дуэль на Чёрной речке. *«Пустое сердце бьётся ровно, в руке не дрогнул пистолет...»* Дрогнул! По одной из версий, Пушкин выстрелил Дантесу в причинное место, но попал в пуговицу, только слегка подранив соперника, а тот – смертельно ранил поэта в живот, хотя некоторые современные исследователи утверждают, что Дантес стрелял поэту в ногу и убивать не хотел – и это как бы оправдание убийце, когда оправдания нет! Мол, просто, так трагически сложились обстоятельства – пуля ушла не туда. Дантес был военный и прекрасно владел оружием: если бы не хотел убивать – не убил бы. В то время операций на брюшной полости ещё не делали, и поэт был обречён. Он очень мучился, хотел даже застрелиться, чтобы прекратить страдания. Попросил Данзаса, дежурившего у его постели, подать из ящика письменного стола пистолет, но Бог уберёт от греха. Агония продолжалась двое суток. Вышло, как предрекла гадалка: Пушкин был убит «белой головой» – Дантесом, защищая честь своей жены.

Как я в молодости ненавидела Натали! Ведь из-за неё, из-за её кокетства всё! И многие современники – сначала Пушкина, потом мои – осуждали жену поэта. А теперь, когда я сама дважды вдова, мне её жалко. Теперь я думаю: как ей было, наверно, страшно остаться одной, с четырьмя малыми детьми, с долгами мужа да ещё кругом виноватой. Он умирал, она – в соседней комнате – слышала его прерывистое, хриплое дыхание, и нервные судороги сотрясали её, от которых она змеёй извивалась, выгибалась колесом и сама хотела умереть. Долго потом лечилась в Швейцарии, на водах, от истерик, и все годы своей жизни, уже выйдя замуж за генерала Ланского, каждую пятницу, в день гибели Пушкина, запиралась она в своей комнате и молилась, и плакала, и каялась, покрыв голову чёрной накидкой.

Недавно потомок Дантеса покаялся за своего предка и попросил прощения у потомков Пушкина, которые живут в разных частях света. Женская половина Пушкиных потомков Дантеса простила – дети не отвечают за отцов, мужская – не простила: ни детей, ни самого Дантеса. Убийца! И это клеймо род его никогда не смоем. Суд над Дантесом свершился ещё при жизни негодяя: одна из его дочерей так любила Пушкина, что устроила молельную комнату с его портретами, а отца прокляла и отреклась от него. Что может быть страшнее?

## Материнская любовь

И всё же есть на свете нечто такое, мистическое, что невозможно объяснить с помощью разума. Да вот пример из жизни нашей семьи.

Была у меня двоюродная сестра Зураш (Зоя). Её мать, тётя Катя, и моя мама – родные сёстры. Тётя Катя вышла замуж за казаха Есемадия Блялова. Он, молодым,

погиб в шахте, в Майкаине, где добывали золото. Осталась Зураш без отца, но в память о нём всегда носила его фамилию. С русской снохой и внучкой стала жить мать Бялова, бабушка Хадиша, хотя у неё были другие дети, чтобы, как она говорила, воспитать Зураш казашкой. И воспитала. Зураш приняла ислам, а тётя Катя осталась православной, но никаких споров со свекровью и дочерью на этот счёт не было.

Я помню бабушку Хадишу. Она ходила в саржевом платье и бархатном зелёном камзолычке, на шее – мониста из советских и царских монет, на голове – белый жаулык. Чтобы белолицая, статная Зураш не выскочила замуж за русского, едва исполнилось ей 18 лет, сестру нашу выдали замуж за казаха Кендербая. Вроде с расчётом выдавали, а получилось – по большой любви. Полвека прожили они вместе, четверых детей родили, внуков дождалась. И вот на подходе к семидесяти годам Зураш заболела раком и умерла. Сильно горевал Кендербай, нигде не находил утешения, хотя жил с детьми и внуками, в заботе и довольстве. Уходил в Степь, плакал. Год после её смерти продержался, а потом покончил с собой. Всё как в казахских легендах о влюблённых: о Баян-Сулу и Козы-Корпеше или об Енлик-Кебек. Они умирали вместе. Один без другого не мог жить.

Я с сёстрами ездила на могилки Кендербая и Зураш. Они лежат в красивом месте – между Майкаином и Баянаулом. Кругом Степь, пропахшая пряными травами короткого северного лета, зелёные холмы, ветер поёт, как печальная струна шан-кобыза. Посреди Степи одинокая родовая усыпальница рода Кендербая. Древние могилы, огороженные диким камнем. Рядышком, тесно лежат Кендербай и Зураш, осенённые полумесяцем.

У их могил рассказали мне сёстры мистическую историю. Сын Кендербая и Зураш Асет однажды ехал на поминальный ас по родителям, а дорога плохая, особенно зимой, и на каком-то роковом повороте машина перевернулась. Окровавленный, Асет выполз из машины. Тут увидел на дороге покойную мать. Высокая, в белом одеянии и белом платке, шла она по снегам и Асета за собой звала. Пополз он за ней, как в младенчестве. А она всё идёт и идёт, и так нежно, так ласково смотрит на него, что Асет заплакал. И тут раздался взрыв: машина загорелась, но Асет уже был на безопасном расстоянии от неё. Видение матери растворилось в морозном воздухе. Все погибли. Асет один выжил. Мать его спасла. Разве не мистика? Выходит, люди всё же не умирают, а переселяются в другие – параллельные миры, и оттуда следят за нами, и помогают нам. И наша Зураш там. И Пушкин там.

### «Проходишь ты в видениях моих...»

Когда мой сын Денис влюбился в первый раз, в чудесную девочку Алёну, то я догадалась об этом сразу же, как только он стал ежедневно мыть шею, чему прежде яростно сопротивлялся. Было им с Алёной лет по 14-15 и любовь их заключалась в гуляниях по городу. Денис с Алёной шли, взявшись за руки, а за ними следовал табунок ребят: группа поддержки. Мальчику четырнадцати лет оставаться наедине с девочкой, видимо, было страшновато.

На всю жизнь Алёна осталась для моего сына прекрасным Миражом. Когда через десять лет Денис женился на девушке Ирине и у них родилась дочь, то он

назвал её Алёна. Правда, жена потребовала от Дениса, чтобы он не вспоминал свою первую любовь, а поклялся бы в вечной любви ей, Ирине, и он, конечно же, поклялся, но Алёна тоже осталась с ним. И это была его тайна.

Как-то моя пятилетняя внучка Алёна, которая хотела выйти замуж за своего отца, ревниво спросила меня:

– Мой папа, он тебе, вообще, кто? Почему ты его целуешь?

– Это мой сынок.

– Ну вот что ты выдумываешь, бабушка? Какой сынок? В твоём возрасте не может быть детей.

– А в твоём?

– В моём – тоже, но у меня хотя бы есть женихи.

– Вот как? И много?

– Шесть с половиной мальчиков.

– А почему с половиной-то? Половинный жених без ног, что ли, или без головы?

– Ну ты и смешная! Просто этот мальчик не совсем ещё в меня влюбился, наполовину только, понимаешь? Но пусть они даже не мечтают! Я за папу замуж выйду.

Теперь Алёне семнадцать лет, и вопросы другие:

– Интересно, как вы раньше знакомились с парнями, если Интернета не было?

– Чаще всего на улице.

– Фи! Это же неприлично! И что, была у тебя первая любовь?

– А как же, была, не с двадцатой же всё началось.

– Ого! Двадцать любвей! Ну ты даёшь, бабушка!

– Двадцать не двадцать, а три больших, серьёзных любви было, а влюблённостей, конечно, больше...

– Сколько? Сто, двести?

– Не знаю, не считала, ведь чуть ли не каждый день в кого-нибудь влюблялась.

– Я тоже влюблена, – вздохнула внучка.

– И в кого же, если не секрет?

– А смеяться не будешь?

– Не буду!

– Это туманность... Он приходит ночью, клубится облаком, потом превращается в человека – в чёрной шляпе и длинном чёрном плаще...

– У меня тоже была туманность, примерно, лет в тринадцать-четырнадцать... Я звала его Мираж, а вскоре появились первая любовь и первые стихи...

– А теперь Мираж к тебе приходит?

– Приходит и теперь...

\* \* \*

...Иногда я думаю: если бы не случилось всех моих ошибок и романов, как бедна была бы моя жизнь. И разве украшают женщину, да и мужчину тоже, одна-две любовные истории? Ведь очень редко так бывает, что человек встречает свою большую любовь – сразу, одну на всю жизнь и ни на кого больше

никогда не смотрит, не влюбляется, и в него никто не влюбляется. Ведь скучно! Да и неправильно, наверно, а уж для поэта вообще недопустимо. С отрочества происходило во мне – через любовь – осознание себя как женщины, как поэта, воспитание чувств, спор в душе чистоты и порока. Я много влюблялась, много раз теряла голову. Теперь, на склоне лет, мне жалко, что я перестала влюбляться – это чудесное состояние!

А как же Данте и Петрарка? – спросите вы. Беатриче и Лаура были для них единственными и неповторимыми – с юности и до смерти. Данте вообще влюбился в Биче, когда им было по 9 лет, девятилетним влюбился первый раз и Байрон, в чудесную девочку Мари, а когда, став взрослым, узнал, что она вышла замуж – упал в обморок. Как много граней открыли поэты в этой возвышенной любви! Но придётся разочаровать романтиков – это была всё же умозрительная любовь. Это был поэтический мираж, а стихи об этой любви рождались пронзительными потому, что их питал житейский опыт, питала земная страсть к земным женщинам, с которыми жили поэты, земные невзгоды.

Данте был обременён большой семьёй – жена, дети. У него были конфликты с властями, его изгнали с родины, он умер на чужбине. Беспощадное изображение людских пороков ему не простили, «Божественную комедию» не печатали полтора столетия. Она и теперь страшна, хотя бы потому, что поэт увидел в земном мироздании насмешку Бога над грешным человеческим родом, который не оправдал Его надежд. Клоны оказались неудачными и не повторили образ и подобие Божье – за редким исключением. Возможно, именно эти редкие праведники будут возвращены из небытия во время второго пришествия Христа. Поэма Данте хоть и «божественная», но всё же это «комедия», это пародия. И только Беатриче совершенна: она – земное отражение Приснодевы, она – очистительная любовь поэта:

*«О, Беатриче, помоги усилью / Того, кто из любви к тебе / Возвысился над повседневной былью...»*

Она навсегда останется сияющим идеалом, ангелом, который спускался на землю, и потому не страшно шагнуть за роковую черту, когда придёт твой час!

*«Проходишь ты в видениях моих / Среди фиалок, рощицей прелестной, / Не женщина, но ангел бестелесный, / В своём сиянье сладостен и тих...»*

Петрарка, воспевая в сонетах свою Лауру – запах лавра, эфир, мираж – до сорока лет тоже довольно бурно жил, меняя женщин. В сорок решил уйти в монастырь, но не смог отрешиться от мирских забот и обязанностей перед семьёй. Он жил грешно, жил в скорби, но видел сияние чистой, ангельской любви, от которой рождалась Поэзия – минувшая звериное соитие.

Нет, нет! Один только мёд приедается – нужен и перец, а стихи, как писала Ахматова («чужих мужей вернейшая подруга и многих неутешная жена»), вообще растут из сора, из ничтожного земного праха, из наших грехов, не ведая стыда. Поэзия – это дорога из грязи в князи, это наше чистилище, это путь к любви.

Да, я грешила, но уж и налюбилась – на всю жизнь!

Вспомнились строки подзабытой уже советской поэтессы Ирины Снеговой – о вечной жажде любви, даже в счастье, даже в житейском благополучии:

*«О, Господи, как женщины мечтают, / Чтоб их любили так, как ты меня. / Об этом в книжках девочки читают, / Старухи плачут, сидя у огня. / И мать семьи,*

*живущая, как надо, / В уютном доме, где надёжный свет, / Вздохнёт, следя, как тают туч армады: / И всё, как надо, а чего-то нет. / Есть постоянство, быт, но ежедневно / Никто, считая дни, минут не ждёт, / Никто тебя за счастье, за несчастье, / Как рок, как наваждение, не клянёт. / Не довелось... Вздохнёт, а тучи тают, / Горит закат на самой кромке дня... / О, Господи, как женщины мечтают, / Чтоб их любили так, как ты меня: / Неистребимо, яростно, с бедою, / С желаньем мстить, как первому врагу! / Должно быть, я любви такой не стою, / Коль броситься ей в ноги не могу...»*

Господь был щедр, и мне выпало много любви – чистой и грешной, низменной и небесной. Но все эпитеты тут лишние: любовь жива сама собой и нет ей закона. И какой бы она ни была, всё же лучшие чувства в нас воспитывает именно любовь, и только от любви рождаются дети и стихи. Я благодарна Судьбе за этот бесценный дар, как и моим любимым, с которыми делила своё сердце: «*Да, я плакала от горя, но счастливою была!*».

## КОЛОКОЛ ЭЧМИАДЗИНА

*«И с отвержением читая жизнь мою...»*

...Снова и снова перелистываю я страницы моей жизни – и всё оживает, всё возвращается: и люди, и события, и чувства. Воспоминания носятся в моей голове, как ласточки перед дождём. Многие из них заставил вспомнить Мирабо – за нашими чаепитиями в ночном саду, под музыку сверчков. Он к моим рассказам о прошлых моих влюблённостях, о творческих страстях и житейских бурях относился как к литературным произведениям – он был самым лучшим читателем моей жизни, и я вдохновлялась его вниманием, я исповедовалась ему. Исповеди эти заставляли глянуть на себя со стороны: иногда оправдывали моё грешное бытие, но чаще – ужасали.

*«Неужто это я была, / Бесстыжая и молодая? / Затем ли жимолость цвела, / Долина мёдом изошла, / Чтоб память – пыточная стая – / Меня и мучила и жгла...»*

\* \* \*

Как много было разных влюблённостей и даже романов – запретных романов! – которым не препятствовал первый мой муж, Олег, пока был жив. Он молчал, наблюдая мою любовную лихорадку, отчего вина моя перед ним с годами всё острее, и я всё острее понимаю, как больно ему, наверно, было, а тогда, одержимая бесами, писала я о нём беспощадные строки:

*«Как твоё всепрощение мне ненавистно! / Брошу камень вослед – его хлебом зовёшь, / И слеза мною твоя не нависла, / Твоей крови смятенной не чувствую дрожь. / Что ни сделаю я – всё угодно и ладно. / Полюбила другого – слетай и вернись. / Ненасытно, взахлёб, через край, безоглядно / Принимал ли ты в сердце когда-нибудь жизнь? / Всепрощенью немому я больше не верю! / Равнодушием дышит такая любовь. / Большие правды в порыве, что хлопает дверью. / Негодуй, возмущайся, ревнуй и злословь (...) Не молчи! Не молчи!»,* – орала я в стихах, но он был не равнодушен – он был великодушен. Он был старше меня на девять лет, был взрослее. Терпел мои выходки, да и не мог, наверно, справиться со мной, ведь

я тогда была огнедышащей лавиной, которую вряд ли бы кто-то смог остановить, и я сама не в силах была совладать со стихией, не понятной и не подвластной мне. Да ещё Мираж!

*«...На казнь пойду, на эшафот, / Но погублю – безмерен счёт / К тебе: ты врос в меня корнями, / Со мной для суеты сроднён. / И беспорочен только он, / Что Миражом витал над нами...»*

Теперь, спустя много лет, я думаю: а, может, и хорошо, что мы с Олегом увлекались другими? Он ведь тоже увлекался – своими ученицами, и я сгорала от ревности. Может, романы эти нужны были, чтобы понять, наконец, как мы с ним необходимы друг другу, что срослись, что невозможно раздельное бытие? Измены простили, вот только сердце надорвали. Последнее вразумление Божье было, когда Олег смертельно заболел. Он оставил мне письмо, которое просил прочитать, когда его не станет, и в этом письме писал, что, несмотря на все наши романы, по-настоящему нужны ему были только я и наш сын. И мне тоже нужны были только сын и он, но мы выжигали душу друг другу, мы любили «ураганом и смерчем», а ведь нам отпущено было так мало времени. За всё спросилось! И оба мы держим ответ по ту и эту сторону Жизни.

Жить правильно в браке, любить, не рая, я научилась только со второй попытки – с Мирабо.

*«...Склоняюсь тихо к изголовью, / Люблю тебя, мой тихий вечер, / Но не мучительной любовью, / Не ураганом и не смерчем. / Люблю, как любят в скалах море, / Как на каютах любят свечи, / Как передышку в долгом споре, / Как нежность самой первой встречи, / Как зимний вечер деревенский, / Когда смолою пахнут печи. / Люблю, как любят быт вселенский, / Что ежедневен и не вечен...»*

Понимаю я теперь и природу моих страстей. Мимолётные влюблённости насыщали моё поэтическое перо, и я была не властна над стихией творчества. Олегу не повезло – он первым принял удар на себя: женился на этой стихии, полной молодой энергии и страсти, которые не перебрадили ещё в мудрость, в душевный покой. Теперь я могу сказать вслед за Державиным: «Покой мне нужен – дней в останке...», хотя великий старец, пожалуй, неважный пример: он и в 70 лет с вожделием поглядывал на девушек. Мирабо излечил от сумасбродств, но до него было ещё несколько любовных вспышек – последняя агония перед новой, более чистой жизнью, и вспышек этих хватило, чтобы сжигать мою совесть, но и питать мою поэзию долгие годы. Она черпала из огненной, неугасающей памяти, которая мучила и Пушкина:

*«И с отвращением читая жизнь свою, / Я трепещу и проклиная, / И горько жалею, и горько слёзы лью, / Но строк печальных не смываю...»*

И я не смогла смыть. Разве можно изменить прошлое? Всё, что прожито и совершено, уже навсегда часть твоей жизни, и остаётся только понять, для чего это было послано тебе: для каких прозрений Души, воспитания сердца – и раскаяния.

## Вслед за Ноем

Казахи говорят, что Ной на своём ковчеге причалил к горе Казыгурт, когда в нашей южной пустыне было море. Старожилы даже покажут вам обломки деревянного корабля библейского праведника. Такие же обломки есть и в горном

селении Туфандаг в Азербайджане, и наверняка где-нибудь ещё. Живёт предание, что одна из скрипок великого итальянского мастера Страдивари была сделана из куска ковчега. Выходит, и к Италии Ной причаливал? Но армяне в это, конечно же, ни за что не поверят, потому что в Библии прямо сказано: Ной приплыл к горе Арарат, в земной рай, ведь все знают, что «на горе Арарат растёт сладкий виноград!» Ничего, что Арарат в Турции – он всё равно армянский.

Вот и я однажды «приплыла» в ковчеге – на воздушном корабле – в Армению на совещание молодых поэтов и композиторов, приехавших из разных республик по приглашению ЦК ВЛКСМ – это была комсомольская затея. В школьные годы я была комсоргом школы, а в пионерские – тимуровцем, и чтобы увеличить число добрых дел, переводила бабушек через дорогу, хотя бабушки и упирались, потому что им не надо было на другую сторону улицы, но мы, тимуровцы, их всё равно перетаскивали. «А теперь, касатики, ведите нас обратно!» – просили старушки, и мы вели их обратно, чем удваивали добрые поступки. Очень была активной, и шутила потом, что у нас на Семипалатинском полигоне взрывали не атомные бомбы, а, наверно, скипидарные. Заряда «скипидара» хватило надолго, и в молодости, кроме основной службы, я подрабатывала ещё на полставки в ЦК ЛКСМ Казахстана – была зампредела Совета по работе с творческой молодёжью, а в председателях – поэт Мухтар Шаханов, очень популярный в 60–70-е годы, о чём я уже упоминала. Мы организовали тогда фестиваль «Жигер», в котором участвовала уйма молодых талантов со всех концов республики. Было создано и литературное объединение при газете «Ленинская Смена», и там же каждую неделю печаталась «Литстраница». «Ленсмена» обрадовалась моему появлению в редакции и тут же сбросила мне всех скандальных стихоплётов. Особенно донимал газету один сумасшедший, который писал либретто к известным уже операм и балетам. Ему объясняли, что такие либретто давно написаны, что газета в принципе не может либретто печатать, но либреттист не верил, строчил доносы наверх, сверху спускали строгие приказы: «Разобраться!» Всех замучил, стуча костылём. Вот мне и подсунули его в первый же день. А у меня ведь уже был опыт общения с подобным народом, когда я работала литконсультантом в Семипалатинском отделении СП, и вот что придумала. Завела папку с надписью: «Золотой Фонд “Ленинской Смены”», и как только либреттист приносил очередную порцию своей писанины, вкладывала в эту папку, важно поясняя автору, что его произведения достойны не сиюминутной публикации, а вечности. С тех пор сумасшедший молча приходил, молча совал в «папку вечности» свои бумажки, и так же молча уходил, свысока поглядывая на нас, смертных.

Продержалась я в ЦК недолго, потому что отказалась, кроме прямых обязанностей, писать ещё доклады для комсомольского начальства. Оскорблённое начальство сказало:

– Нам тут такие не нужны, чтобы приходили, качали белую ногой да одни стишки декламировали!

Ну, не нужны так не нужны! Но случилось это не сразу. Я успела, как представитель творческой молодёжи, съездить в Армению, вместе с поэтом Шумишбаем Сариевым и композитором Кенесом Дуйсекеевым. Тогда, в начале 80-х, они тоже были молодёжью.

Шумишбая за его буйные кудри все звали Пушкиным. Когда-то он учился в морском училище и на всех лекциях писал стихи. Начались экзамены, на которых

присутствовал важный адмирал. Шумишбай ни на один вопрос ответить не мог, и тогда адмирал пожал ему руку:

– Поздравляю, Пушкин!

– С чем?

– Как с чем? Ты же будущий герой Советского Союза. Вот возьмут тебя враги в плен, начнут пытать, как устроены наши боевые корабли, а ты ничего не знаешь – ты же ничего не учил, а стихи писал на лекциях. Тебя, конечно, расстреляют, а советское правительство за то, что ты не выдал ни одной военной тайны, представит тебя к награде Героя – правда, посмертно. Молодец!

Морское дело Шумишбай вскоре бросил и всецело занялся литературой. Я перевела немало его стихов, и мы с ним друзья-курдасы, а Кенес написал песни на его стихи. Шумишбай вообще прославился песнями, которые поёт весь Казахстан.

Мы не сразу прилетели в Армению. Сначала наш самолёт сел в Баку – прямого рейса до Еревана не было. Он вылетал только на другое утро, и билеты были все распроданы. Шумишбай дал взятку начальнику аэропорта: десять рублей, но тот бросил в лицо поэту эту десятку:

– У меня таких бумажек куры не клюют!

Тогда мы скинулись и дали двадцать пять рублей. К счастью, двадцатипятирублёвки его куры клевали. Начальник, хоть и брезгливо, но взял деньги, однако точно ничего не обещал, хотя неопределённо всё же покрутил пальцами:

– Поглядим!

Мы кинулись в ЦК Комсомола Азербайджана, чтобы помогли вылететь в Ереван. Комсомольцы долго перезванивались с аэропортом, но самолёта не добились. Запомнилось мне посещение комсомольского женского туалета: там стояли оловянные кумганы для омовения. Шумишбай с Кенесом сказали, что и в мужском туалете есть кумганы, только медные, с красивой чеканкой. Феминисток в Азербайджане тогда ещё не было, и женщины не возмущались таким неравенством в кумганах.

Впереди была целая ночь. На гостиницу денег у нас не хватало – почти все деньги мы потратили на взятку в аэропорту и на ужин в ресторане. Он был весь в красных тонах, и мужчины-официанты ходили в красных фесках и фартуках. Посетителей ублажали томительной восточной музыкой, которая усыпляла, и мы немного соснули, откинувшись на мягкие кресла, потому что выпили много коньяка. Думали ночь переждать в ресторане, но в 24.00 нас выставили – заведение закрывалось. Пришлось остаток ночи бродить по берегу Каспия – протрезвляться. Мы с Шумишбаем читали стихи, травили байки. Кенес молчал, вслушиваясь в музыку моря. Каспий равномерно бился в каменные берега, оставляя пятна нефти. К рассвету мы изрядно устали и замёрзли. Шумишбай тоскливо глядел за морской горизонт:

– На том берегу Казахстан! Я к маме хочу...

Наконец наступило утро, и начальник аэропорта не обманул: впихнул нас в переполненный самолёт! Сразу же, ещё не взлетев, оказались мы в кругу весёлых армян, которые разложили на откидных столиках кавказскую снедь: румяный шашлык, много зелени, сыр, простыни лаваша, багряные помидоры. Зазывали всех на пир, угощали всех. Рядом со мной сел армянин в огромной плюшевой кепке. Тут зажглось табло – на армянском языке. Я спросила соседа:

– Что написано? Застёгиваться или расстёгиваться?

Суровый до этого, он радостно заулыбался:

– Конечно, расстёгиваться, дарагая!

Когда мы прилетели в Ереван, то снова попали в анекдот. Прилетели-то мы с опозданием и нас уже никто не встречал, но мы об этом не знали, и когда суетливые армянки спросили нас, не из Казахстана ли мы, то мы тут же это подтвердили, и они потащили нас к автобусу. По дороге стали нам задавать странные вопросы о каких-то микроорганизмах, о брачном периоде дельфинов и других интересных вещах. Оказывается, они встречали биологов, а встретили поэтов. Нас вышвырнули посреди города и развернули автобус опять к аэропорту. Как мы добирались до места, уже не помню, но добрались. А потом поэтов и композиторов повезли в Дом творчества в Дилижан.

Директор Дома был, во-первых, патриотом – он украсил сад небольшими бассейнами в форме священного для армян озера Севан; во-вторых, был очень жалостливым – подбирал всех бездомных собак. По ночам табуны этих бобиков рыскали по усадьбе, несли свою собачью чушь и выли на Собачью звезду – Сириус, и можно было наблюдать такую картину: вологодский поэт Коля Д., после творческой посиделки, уговаривал псицу Зару:

– Зара, давай встанем с тобой на две ноги, что мы на четырёх-то стоим?

С ним потом приключился такой же анекдот, как с Лукашиным из фильма Эльдара Рязанова «С лёгким паром»: когда мы разъезжались по домам, весёлые поэты перепутали рейсы и отправили Колю вместо Вологды в Симферополь, где он за деньги читал стихи туристам, чтобы его снова увидела родная «Вологда-гда, гда». Кстати, старожилы Вологды утверждают, что «резной палисад», который упоминается в песне, был тогда только возле одного дома, в котором располагался... вендиспансер. Именно там, как поётся в песне, ждала героя «Вологды» любовь.

Несмотря на то, что директор Дома приказал работникам пищеблока спрятать все запасы спиртного, поэты его добывали. Для этого они преодолевали несколько горных перевалов и добирались до посёлка, где был магазин с огненной водой. Порывался с ними в этот «переход Суворова через Альпы» и Николай Добронравов – муж и соавтор Александры Пахмутовой, но Пахмутова всегда была начеку, и Добронравов впадал в томность. Он, выпускник школы-студии МХАТа, кому диплом подписала сама Книппер-Чехова, не мог даже актёрскими способностями усыпить бдительность своей маленькой, но твёрдой Али.

С утра громко распевался Евгений Мартынов, пел свой хит «Олеся», но его перебивал, весь в строгом, чёрном, в ярко-начищенных дорогих туфлях, Мовсеян: он играл на рояле и подпевал приятным баритоном: *«По аэродрому, по аэродрому лайнер пролетел, как по судьбе... Для кого-то просто лётная погода, а ведь это проводы любви...»* Номер сопровождался грохотом, потому что неугомонный Коля Д. падал с перил лестницы, которая вела в подвал, в безалкогольный буфет Дома творчества.

По аллеям горного парка прогуливал свою молодую жену, поэтессу и красавицу Светлану Токомбаеву её ревнивый киргизский муж. Он ни на шаг не отпускал её от себя и подводил к «нужным» людям, устраивая ей творческую карьеру. Зарина Миршакар – из семьи потомственных музыкантов Таджикистана – щеголяла в экзотическом блузоне, который смастерила сама. Как она говорила, блузон этот имел неизменный успех на её зарубежных концертах.

– Если б они знали, из чего я его сшила! – смеялась Зарина.

– Из чего же?

– Из бабушкиного коврика-сюзане. Раньше на стенке у неё висел.

С нами проводил беседы человек в штатском. Он убеждал писать патриотические песни, которых так не хватает нашим людям, работающим на Западе. И мы шутили потом, что нынешние разведчики, как Штирлиц, поют, наверно, русские песни «в уме» – не размыкая губ, чтобы их не разоблачили, и тогда вместо точек можно произносить все крепкие словечки. Из таких словечек и надо писать песни – на радость бойцам невидимого фронта.

Нас возили на экскурсии по страшным горным серпантинам к святым источникам, сооружённым в память о жертвах геноцида. По краям горных дорог громоздились искорёженные автомобили. Они стояли как верстовые столбы – через каждый километр.

Водитель по имени Гурген, которого мы тут же переделали в Пургена, в самом деле, «гнал пургу»: вдохновенно рассказывал о древней истории армян: мол, когда все вы ходили ещё в шкурах и жили в пещерах, у нас уже была письменность и великая культура. Представители других народов, что ехали в автобусе, бурно спорили и доказывали, что именно их народ самый древний и от него пошёл и человеческий род, и все цивилизации. Казахстанцы не вступали в спор: что спорить? И так ясно, что казахи самые древние – это доказал в своей книге «Аз и Я» Олжас Сулейменов. А другой писатель (фантаст) утверждал, что инопланетяне тоже произошли от тюрков, потому что у них раскосые глаза и кривые ноги. Вот только не мог объяснить, отчего такие зелёные лица? Неужели инопланетяне тоже пьют водку?

Распалившись историческим спором, водитель теперь совсем не смотрел на дорогу, повернувшись всем корпусом к салону, и женская половина автобуса нервничала:

– Гурген, потише! В пропасть свалимся!

На что водитель, жестикулируя и вовсе отпустив руль, невозмутимо ответил:

– Эй! Зачём боишься? Тут пропасти не глубокие. Машины всегда долетают до дна!

Поэты, приняв перед экскурсией огненной воды, ничего не боялись. Они затеяли литературный конкурс: кто больше придумает рифм с окончанием на «ху» – «доху», «петуху», «уху», «на духу», «вверху» и т. д. А композиторы раскладывали на ноты бурную речь Гургена. У одних получился «Марш энтузиастов», у других – «Полёт Валькирий» Вагнера.

### Композитор

На таких экскурсиях я сблизилась с Композитором из Воронежа – настоящим русским молодцем: с русой бородкой, синими глазами, рослым – о таких говорят: косяя сажень в плечах. Мы с Композитором всегда садились в автобусе рядом и много разговаривали. Обо всём на свете. Но больше всего о музыке и поэзии. Композитор говорил, как на картинах старых мастеров обнаружил ноты, спрятанные в листве деревьев, в траве, на теле старцев и юношей. Он проиграл эти музыкальные фразы – и вышло торжественное звучание небесных сфер. Зачем

художники вплели ноты в свои полотна? А затем, говорил Композитор, что ни слово, ни краски не могут передать всю гамму, все тончайшие переливы человеческих чувств так, как музыка. И творя свои картины, художники слышали музыку и пытались писать музыку – в живых образах природы и людей, но, видимо, им это не удалось, потому начертали они ещё и ноты.

«Нет, – думала я, – всё равно поэтическое Слово выше всех искусств: оно вмещает в себя не только мысли и чувства, но и музыку, и живопись, и даже запахи даже бесплотный воздух жизни – у Слова есть аромат. Ведь не зря же Гумилёв писал: *«И как пчёлы в улье опустелом, / Дурно пахнут мёртвые слова...»* А живые пахнут морем, травой, дождём, чистым ребёнком, юной женщиной...»

Улучив момент между семинарами и экскурсиями, которые продолжились и в Ереване, куда композиторы с поэтами переехали из Дилижана, мы с Композитором сбежали в Эчмиадзин и несколько часов провели в великолепном старинном храме и в монастырском саду при нём, где на посыпанных песком дорожках иногда появлялись монахи с отрешёнными бледными лицами неземной красоты.

Ехали назад, обнявшись. Но армянские старухи неодобрительно посматривали на такую вольность, и пришлось вести себя скромнее. Выскочили из автобуса, нырнули в тёмный городской парк – был уже вечер. Свернули с ярко освещённых аллей, где прогуливалось много народу, в заросли сирени, нашли лавочку, упали и стали целоваться, как безумные. О, Господи! Я не была порочной, любила мужа, и никогда любовь эта во мне не угасала, несмотря на все конфликты и разводы, но в то же время меня буквально распирали восторг, жажда влюблённости, и я сочиняла себе кого-нибудь и влюблялась.

...Легко мне тебя сочинить, раздвинуть воздушные стены, ведь надо кого-то любить, иначе Душа опустеет. Сквозь будни и тягостный быт, сквозь жизнь ради горького хлеба, кого-то же надо любить, как любят высокое небо. Оно будет вечно сиять – безбрежно, бездонно, тревожно. Рукою его не достать, но жить без него невозможно...

Тут затрещали кусты, и к нам продрался милиционер – с носом во всё лицо, и он строго сказал, что в парке целоваться нельзя. Если не прекратим, он нас оштрафует. Пришлось прекратить, потому что милиционер не ушёл окончательно, а притаился в кустах и ждал, не пора ли выписывать штраф?

В таком же, как у меня, безумном порыве к «недосягаемому небу» Композитор упустил один важный для себя момент: он хотел поговорить с Пахмутовой о своей учёбе в московской аспирантуре. Ещё метался: ехать ли в Эчмиадзин со мной – или остаться ради разговора с Пахмутовой? И выбрал Эчмиадзин. Пока мы катались в Эчмиадзин, пока целовались, Пахмутова улетела в Москву.

Упустила шанс и я: меня пригласил для творческой прогулки один крупный влиятельный поэт, обещая золотые горы всё в той же Москве: публикации, книги, даже переезд в столицу нашей Родины. Я не пошла на это «судьбоносное» свидание, променяв его на моего Композитора и Эчмиадзин, о чём никогда не жалела. Крупный поэт оскорбился и пригрозил навсегда закрыть мне путь в большую литературу, будто путь этот он определяет, а не Господь Бог. Но что карьера, что запреты, когда любовь!

Композитор написал музыкальную композицию о нашем романтическом путешествии, а я – стихи: «Колокол Эчмиадзина».

*«...В тревожный миг мы встретились с тобой, / В тревожный век – как все века тревожны! / Нам друг без друга в мире невозможно, / Но – колокол гудит над головой, / Но – колокол гудит! Чугунный гул / Нам возвещает скорую разлуку. / Мы встретились на радость или муку? / Ты слышишь: ветер времени задул! / Нетленны воды, небо и гранит, / Пока любовь летает между нами. / Что завтра ждёт нас: новый геноцид? / Потоп Всемирный? Атомное пламя? / Но так сильна любви и жизни страсть! / И я хочу к губам твоим припасть – / Через мгновенье разлучит нас ветер. / Уже крылом он колокол задел, / Уже он скалы превращает в мел, / И прах цветов разносит по планете...»*

Нас настигало эхо давней катастрофы: горела земля, армяне бежали от турецкой резни, унося на спинах детей и книги, и ещё, много раньше этого бедствия – сорок дней и ночей лил дождь, шумели волны бесконечного океана, по этим волнам Всемирного Потопа плыл в своём ковчеге праведник Ной, плыл над погребёнными селеньями, над стаями хищных рыб, которые окружали утопленников, и летел к Ною голубь – с оливковой ветвью в клюве, и летел ворон – бросив добычу, убитую Потопом, и маячили на горизонте вершины Арарата, и спасся Ной, и началось новое человечество. Новое человечество ничем не отличалось от старого: так же мучило друг друга, распинало, резало, попирало святых. И конца этому не было. И ни один Потоп не смог человечество образумить.

В чёрных одеждах, надвинув остроконечный клобук на лоб, шел по каменистым склонам Армении плачущий монах и поэт Грегор Нарекаци, и бормотал он горестные, беспощадные строки своей «Книги скорбных песнопений»:

*«Моя душа, как выгребная яма, / Ты вобрала, чтоб погубить меня, / Грехи всех смертных, со времён Адама / Свершённые до нынешнего дня... / Ты копишь то, что низменно и тленно, / И потому ничтожна и презренна...»*

Как он каялся, как мучился, как вопиял к Богу! Только в Нём видел он спасение, только к Нему вёл заблудшие души.

*«Когда недугом мучимый жестоко, / Почти утратит кто-то с жизнью связь, / Пусть обретёт он силу в этих строках, / И возродится вновь, Тебе молясь!..»*

Словом своим, замешанном на слезах и молитвах, проторил он небесную дорогу, и Книгу его народ чтит как святину, любовно называя «Нарек». И не просто чтит, а буквально обожествляет, приписывая ей волшебное могущество, наделяя свойствами исцелять человека.

«Вера в целительную силу Книги столь укоренилась, что из века в век её прятали в изголовье больных, читали над страждущими», – писал в своей книге «Семь песен об Армении» поэт Геворг Эмин.

### **Армянские приличия**

Делегацию поэтов и композиторов возили в разные города – Армения маленькая. И в одном из них, через который когда-то проезжал в район боёв, в Арзрум, Пушкин, глава города с гордостью сообщил, что у них нет вытрезвителя, потому что никогда не бывает пьяных. Но поэты наши тут же провергли главу:

– А мы пьяных видели!

Глава не растерялся:

– Ну тогда это был кто-то из вас!

Ездили и в древний Спитак, прекрасный своим храмом, средневековыми зданиями и уютными улочками, вымощенными звонким камнем. Там пахло старинной и свежемолотым кофе. Строения Армении похожи на её скалы, а письменность – на шедевры каменного зодчества. И даже надписи на заборах выстраиваются в красивую цепочку округлых и остроконечных знаков. Неужели это ругательства? Ведь так могут быть написаны только стихи. В Спитаке мы наблюдали удивительное небесное зрелище: молодой месяц и в нём – звёздочка. Вот он, мусульманский символ – звезда и полумесяц – над христианской страной, где соборный крест сиял рядом, в лучах угасающего солнца. Они были в гармонии среди вечного неба и зелёной земли. Они любовались друг другом.

Мы обедали у пограничников Спитака. Еда была необыкновенно обильной и вкусной. Повар и вся его команда, в белых колпаках и фартуках, скрестив на больших животах руки, сидели вдоль стены и с пристрастием наблюдали, как мы едим, провожая взглядом буквально каждый съеденный нами кусок.

Куратор обеда выдал нам инструкцию:

– Есть надо всё до конца, не оставлять ничего на тарелках, а то хозяева обидаются! Надо соблюдать армянские приличия.

Мы уже начали раздуваться и лопаться от угощения, но тут заиграла военная тревога, и наша гибель от чревоугодия была отложена. Но мы рано радовались. Начальство погранзаставы вскочило из-за столов и убежало, а повара не дрогнули – они всё так же сидели у стены, скрестив на животах руки, и наблюдали за трапезой. Гудела тревога. Женская часть нашей делегации запаниковала:

– Это что, война?

Куратор обеда невозмутимо сказал:

– Даже если война, надо всё доесть!

– Какой ужас, война! – завывали поэтессы.

– Э, э, какая война! – подкладывал им в тарелки свежую снедь куратор. – Всего лишь незаконное пересечение армяно-турецкой границы!

– С чьей стороны? – включилась и мужская часть.

– А-а, как всегда, с нашей! – выдал военную тайну куратор. – Кушайте, кушайте!

Но мы тоже вероломно нарушили границу – границу армянского приличия, и выползли из-за стола, не одолев и половины блюда.

Через несколько лет страшное землетрясение разрушит и Спитак, и другие города Армении. Я, вместе с людьми всей страны, понесу тёплые вещи и деньги в Красный Крест. Там выстроится очередь. Все скорбно будут молчать, молча передавать свои свёртки, молча обнимать друг друга, как родственники. На другом конце страны, в Воронеже, в такой же очереди будет стоять и мой Композитор, который напишет реквием по Спитаку.

По радио я буду выступать с Шумишбаем Сариевым – мы говорили об Армении, читали стихи о ней, и хотели хоть так ободрить несчастных армян, оказавшихся среди руин и бесчисленных свежих могил. Я читала «Колокол Эчмиадзина» и строки в память о прекрасной горной стране и поэте её – Нарекаци:

*«Здесь прекрасен каждый миг, / Жгуче-острый, сладко-пряный. / Помидор стыдливо-рдяный / С нежным именем «лолик». / У торговца снедью лик, / Будто профиль на монете / Древних царств, пропавших в Лете, – / На владык похож старик! / Через слово скажет «че»\*. / Но, мечась и отрицая, / В каждом утреннем*

*луче / Неизменно жизнь мерцает. / Полон скверны и грехов / Этот мир, забывший Бога, / Но торжественно и строго / Он возводит храмы Слов. / Как прекрасны письма, / Что оставил в свитке гений! – / «Книгой скорбных песнопений» / Отозвались времена. / Не восстанут мертвецы, / Век пройдя в грехе и блуде, / Но прощенье, может, будет / От молитв Нарекаци...» (\*че – арм. – нет).*

## Ночная оратория

С Композитором мы встретились ещё раз – в Ленинграде, куда он приехал на гастроли. Я же как раз была в Москве у брата, и примчалась к композитору в Питер – всего на час, так как у меня был поезд дальше, на Ригу. Встреча наша происходила сумбурно, впопыхах, тем более что каждые пятнадцать минут Композитору звонила его жена из Воронежа, будто видела нас и не давала нам расслабиться. В конце концов мы рассмеялись и оставили попытку грехопадения. Так ни разу и не пали, слава Богу, но целоваться целовались. Должна признаться, я тогда очень любила целоваться! Больше меня целовался, наверно, только Брежнев. Вот и я целовалась без передышки, но других интимных моментов старалась избегать – улетала к семье. Наверно, я Богом была создана всё же для брака и верности, для свивания семейного гнезда, но бес творчества толкал на любовные авантюры, которые насыщали перо.

Некоторое время мы с Композитором переписывались, пока письма мои не нашла его жена. Она прислала мне гневную отповедь. И сколько я не уверяла её, что с Композитором меня связывает исключительно творческая дружба (о поцелуях и грешных помыслах я умолчала), она не поверила и требовала оставить её мужа в покое. Что ж не оставить? Стихи о нём уже были написаны – эта часть жизнь прожита.

*«...Чем я лучше пустыни? Ветрами смыло / Лёгкий след иноходца, погони след – / Ещё тело от губ твоих не остыло, / А уже я забыла тебя, мой свет! / Ты вернёшься однажды, томясь от жажды, / И, наверно, спас бы тебя глоток, / Но пустыня во мне, и не вспыхнет дважды / Просиявший родник – он ушёл в песок. / Одиночество выбрав, ты бедуином / Удалишься от мира, но не уйти: / Моё тело, пропахшее горьким тмином, / Будет сниться ночами в любом пути. / Под шатром полосатым, поверив чуду, / Ты обнимешь – но руки твои пусты. / Я пустыня твоя, я тебя забуду, / Но меня никогда не забудешь ты...»*

Я продолжала играть в роковую женщину, и те, кто приставал ко мне после моих стихов, бывал разочарован. Я не совпадала с описанной грешницей: страстной, притягательной, вероломной. Я всех обманула. Я написала не о себе, а о некоей женщине, приснившейся мне. Я тоже была миражом.

Хитря перед женой, Композитор продолжал писать мне, посылая письма из разных городов, куда уезжал с гастролями, но эта переписка оставалась безответной: мне некуда было ему писать, да я и не хотела больше писать, не хотела злить его жену. Он жаловался, что она извела его ревностью, что жизнь его невыносима. В последнем письме, полном отчаянья, он сообщил, что ночью сбежал от жены, пришёл к реке – хотел утопиться. Луны не было. Тьма кромешная, только вода под обрывом тяжело дышала. Перекрестился и прыгнул в бездну. Была осень, холод. Сразу пошёл ко дну, но на полпути стал барахтаться, вынырнул, рванул к

берегу. Лежал потом на холодном песке, в небо глядел, и в непроглядной тьме стал различать призрачный далёкий свет, который шёл из глубин мироздания, и свет этот посылал музыкальные вибрации. И он прибежал домой и стал набрасывать ораторию. Сочинял её несколько дней, в полубреду, потому что простудился в осенней реке. Его бил озноб и жар сушил губы, и душа расставалась с телом. Так написал мне мой Композитор. Где он теперь и что с ним, не знаю. Дай Бог, чтобы жив был и счастлив!

## ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ!

### Колыбель русской поэзии

Его звали Салим. (На самом деле его звали по-другому: я изменила ему имя, а у остальных имена – настоящие). Среди гор и влажного дыхания Терека, на зелёном лугу был накрыт стол. Я подняла тост за Салима, я говорила о нём стихами, я грохнула о камни пустой бокал – брызги во все стороны! «Вах!» – взревели вайнахи и захлопали в ладоши, и бросились с разбега в вихрь лезгинки. Один Салим стоял растерянный, но глаза его горели, и потом он ни на шаг от меня не отходил. Зачем я устроила весь этот спектакль? До сих пор не знаю. Таких экспромтов было немало в моей жизни, и я себя по временам боюсь – и стыжусь.

Случилось всё это спустя год после ухода из жизни моего мужа Олега. Я всё ещё оплакивала его и не глядела на других мужчин. Я не глядела, а бесстыжие глаза мои – глядели. Салим сам недавно пережил трагедию: у него на руках, от рака, умерла семнадцатилетняя дочь. Жена после этого стала невменяемой и превратила его жизнь в ад, но он не мог её оставить: у них был ещё сын-подросток и он нуждался в отце. Да и как было в таком горе оставить жену?

Правда, почти все мои поклонники рассказывали мне похожие истории: мол, из-за проблем с женой, он с нею не спит, но бросить не может – дети, тяжёлая болезнь жены, какие-то клятвы, которые нельзя нарушить. Например, Композитор жаловался на то, что жена его психопатка, бьёт дочерей головой об стену, закатывает и ему истерики – совсем измучила всех, а со мной ему хорошо, спокойно, век бы жил, но не может оставить детей с ненормальной матерью. Это расхожий приём неверных мужей, которые оправдывают свои похождения и не хотят никаких серьёзных отношений с другими женщинами, ведь женщины почти всегда жаждут брака, а мужчины не любят перемен, твёрдо усвоив школьный урок: от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Смертный грех мой в том, что я не останавливала романы, не отправляла моих Дон-Жуанов к их жёнам, а доигрывала каждую новую любовную пьесу до предсказуемой развязки – то есть до написания стихов и расставания: занималась литературным вампирством.

...Но сначала – сон: я плыла по широкой реке, захлёбываясь, то и дело падая на дно, но, всплывая, борясь за жизнь – и выплыла. Это был скалистый берег Кавказа. Я шла вдоль высокой каменной стены, обогнула её и вышла к пещере. Вошла. Там горел очаг. На стене висел портрет человека в черкеске с газырями и в лохматой папахе. В пещеру входили гневные люди, метали в портрет ножи и горланно что-то выкрикивали. Портрет был весь истыкан ударами ножей. Я стояла

в стороне. На меня никто не смотрел, но я боялась гибели. Потом в пещеру вошёл ещё один джигит. Он взял меня за руку: «Пойдём!» И я безропотно пошла за ним. Я почему-то знала во сне, что это – спасение.

\* \* \*

...Воистину, у русских писателей особое тяготение к Кавказу, который для них – спасение, чистилище, выход в иные миры (так было!). Лев Николаевич Толстой уходя из Ясной Поляны перед своим концом, рвался именно на Кавказ – вероятно, не только к истокам своей молодости, к началу жизни, а ещё – и спастись, как герой его «Казаков», петербургский дворянин Оленин, запутавшийся в жизни. Именно там, на Кавказе, Оленин обретает ясность души, возрождается для настоящей любви и любит. Но первым Кавказ открыл Пушкин!

*«...С лёгкой руки Пушкина Кавказ сделался для русских заветною странною не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, странною кипучей жизни и смелых мечтаний! – писал Белинский. – Муза Пушкина как бы освятила давно уже на деле существовавшее родство России с этим краем, купленным драгоценною кровью своих сынов её и подвигами её героев. И Кавказ – эта колыбель поэзии Пушкина – делается и колыбелью поэзии Лермонтова».*

В своих заметках о поэзии «Неугасимый свет», о том, как перо русского поэта может преображать мир, Георгий Иванов писал, что строки А. Пушкина: «На холмах Грузии лежит ночная мгла, / Шумит Арагва подо мною...» привели его в такое волнение, что он поехал в Грузию, чтобы взглянуть на волшебную Арагву, и потом говорил: «Речонка паршивая, кстати, мутная», и не переставал удивляться: «Попалась ему эта Арагва шашлычная. А что он из этой Арагвы сделал? Какое чудо!»

А вот француз Александр Дюма, побывав на Кавказе, не только никакой «колыбели» и «родства» там не обнаружил, но и «чуда» тоже. Зато желудок – обнаружил. Вернувшись в Париж, писатель открыл шашлычную-экзотик. Не зря Пушкин с сомнением относился к французской литературе, писал в своих заметках «О французской словесности» (1822 г.):

*«...Буало убивает французскую словесность, его странные суждения, зависть Вольтера – французская словесность искажается – русские начинают ей подражать – Дмитриев, Карамзин, Богданович – как можно подражать: её глупое стихосложение – робкий, бледный язык – вечно на помочах, Руссо в одах дурён... Есть у нас свой язык: смелее! – обычаи, история, песни, сказки – и проч.»*

Русские поэты находили на Кавказе спасение от прогнившего общества, от вселенской лжи, от смятения в душе, находили поэзию, незаурядные, яркие характеры. И я нашла. Но, судя по всему, и будущую войну на Кавказе увидела во сне. Раньше я бывала на Кавказе – в Армении и Азербайджане, в Абхазии, Сочи и Пятигорске, а вот на вайнахский Кавказ приехала впервые, хотя вайнахов видела в детстве. К нам в Семипалатинск сослали много вайнахов. Их старики сидели у ворот базара или у своих мазанок в Татарской слободе: в лохматых бараньих шапках, небритые, с неподвижными лицами, со злыми, колючими глазами. Глядели с такой ненавистью, что кровь сворачивалась в жилах. Мы их звали «хаволями» – по чеченскому слову: «хаволи» – «иди сюда». Боялись!

...Они у мазанок сидели, переселенцы диких гор. Лохмотья жалкие на теле, тоской тюремной пахнет двор. Взлетая, сталкивались лбами пески, лохматились кошмой, скрипели, как скрипел зубами чеченец в ярости немой. У пояса кинжал из стали – его сберёг опальный род. И нас, детей, в узде держали: «Смотри, хаволя заберёт!» Заросший чёрной бородою, он вор, добро получше прячь! Что ж над Татарской слободою плывёт гортанных песен плач? Такая в них печаль сквозила, так душу мучили они, что я всё ближе подходила к порогам глиняным Чечни. Запрет родительский напрасен – там был певец один, и он так отрешён был, так прекрасен, так светом дальним озарён. Пески всегда смирялись к ночи. В крови всё глуше гул погонь, и мириады звёздных точек, как в саклях прадедов огонь, как письмена в святом Коране о благодати прежних дней, и облака встают горами, и запах снега всё слышней. Глаза горячие ловили виденья отчей стороны: то стадо коз, то склон в кизиле, то отсвет каменной стены. На речку девушки бежали, а он взглянуть на них не смел, и слёзы нежности дрожали в глазах, когда чеченец пел. Он пел, что всё пропало в прахе, но возродится, может быть. И этот взгляд из-под папахи до самой смерти не забыть...

Вайнахи – загадочный народ. Никто точно не знает, откуда они пришли. Мой Салим говорил о тоске своего народа, который чувствует себя одиноким и отверженным среди других народов, но он никогда и никому не сдаётся. У вайнахов есть легенда об одной родовой башне. Башню эту, сложенную из диких камней, много раз пытались повалить, но, поверженная врагом, она вновь выпрямлялась, вставала, будто и не падала, как татарник в «чеченской» повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат». Чеченцы об этом помнят, любят Толстого. В Чечне есть селение Толстой-Юрт. Там рассказали мне ещё одну старинную легенду – «Две башни», и она, конечно же, о любви.

...Есть преданье стародавних лет: одержимый страстью мастеров, из камней и глины Магомед строил башню – неприступный кров. Через пропасть, на другой горе, тоже стены крепкие росли. В бликах солнца, в лунном серебре встали башни посреди земли. Задевали их крылом орлы, сквозь бойницы плыли облака. И со стен казались так малы сакли горцев, рощи и река. Равные, глядят они на свет. Что делить им? Только вот беда: у тебя, охотник Магомед, есть жена, как месяц молода. И сосед твой – тоже молодой. Он следит из узкого окна, как идёт с кувшином за водой, как плетёт косу твоя жена. В дымных саклях – поезжай в аул! – есть невесты, но горит в огне, но под ветра полуночный гул о чужой он думает жене. Ещё дремлет чёрный бересклет, ещё снится юность старикам, а уж спешает Магомед к турьим тропам, к снежным языкам. Он в траве ныряет голубой, он ползёт змеёю меж камней. Только здесь, наедине с собой, говорил он о любви своей. Здесь, в ущелье диком и сыром, где живут лишь птицы да зверьё, гулко перекачивался гром, отзываясь именем её. Опускалась ночь, и по холмам он спешил с добычею назад. Вот и башня, вот уже, но там никого, лишь совы говорят. Ранним утром, радость не тая, через пропасть закричал сосед: «Не ищи жену, она – моя! Я отныне с нею, Магомед!» От горы к горе летит, спеша, эхо дробной рысью скакуна. «Магомед, ты слышишь: хороша, очень хороша твоя жена!» И стрелу охотник наострил, и подрезал горло крикуну, и пришёл, и башню осквернил, и увёл с собой свою жену...

На этом легенда обрывается, но я не могла смириться с таким финалом. Легенда совершенно равнодушна к женщине, вокруг которой и сложилась драма. Там, где начинается «Одиссея» Гомера с прекрасной Еленой и Троянской войной, вайнахское сказание кончается, воздав должное только охотнику-джигиту – даже имя его народ запомнил. Неужели любовь героя легенды – это только любовь охотника к добыче и всё? Но так, наверно, в древности и было. Это потом поэты любовь стали окуривать романтической дымкой. Охотник мне нравится – мужик! И всё же...

...Он, конечно, лучший из мужчин, и попал в преданье без помех. Только что же с ней? – Убит один, а другой простит ли её грех? Что же с нею? – Но молчит молва... Возле башни, на исходе дня, рано пожелтевшая трава так печально смотрит на меня...

### Лермонтов и Салим

О Салиме прочитала я в газете «Комсомольская правда». В очерке рассказывалось, какой это героический человек. Он спас из пожара несколько семей. Он вытащил из пропасти упавшего туда всадника с лошадью – они оступились на каменной осыпи. Он построил в своём районе, которым руководил, коммунизм. Но главное – для меня! – он любил Лермонтова. Когда учился на юриста в Ленинграде, то жил в одном общежитии с филологами. Филологи пописывали стихи и поносили русских классиков: мол, все они дерьмо, давно устарели, в том числе и Лермонтов, а вот мы! Салим не стерпел:

– Какие вы русские! Какие поэты, если Лермонтова оскорбляете? Сами вы после этого дерьмо. А Лермонтов такой большой русский поэт – настоящий чеченец!

На Кавказе Лермонтова очень почитают, признают его даже своим родственником по Шан-Гиреям. В Чечне написано немало литературоведческих трудов, доказывающих вайнахские корни поэта, что сомнительно. «Татарские» – были (по материнской линии, от Арсеньевых).

Салим жил на легендарной реке Валерик, воспетой Лермонтовым в его трагическом письме в стихах к женщине, которую любил всю жизнь. Я видела реку на закате, и она была красной, как в стихах поэта, но у Лермонтова Валерик, что в переводе значит «река смерти», покраснел от пролитой в бою крови, а теперь в нём тонуло солнце, из жил его уходила кровь минувшего мирного дня, солнце засыпало, чтобы утром проснуться с новой, молодой кровью вечной жизни.

Лермонтова на Кавказе почитают, а вот генерала Ермолова ненавидят и памятник ему сломали, а ведь в Ермолове тоже текла восточная кровь. Она досталась ему от татарина Арсалана-Мурзы-Ермолы, который при великом князе Василии Иоанновиче (1506 г.) приехал из Золотой Орды и стал служить белому царю. У генерала Ермолы (Ермолова) были чеченские жёны и дети, которых он всю жизнь поддерживал. Но чеченцы ему не простили, что он пришёл покорить Кавказ огнём, а вот Лермонтов покорил Любовью: «...Как сладкую песню отчизны моей, / Люблю я Кавказ!..» Это была родина его Души, когда весь мир – чужбина.

*«В младенческих летах я мать потерял. / Но мнилось, что в розовый вечера час / Та степь повторяла мне памятный глас. / За это люблю я вершины тех скал, / Люблю я Кавказ!»*

Лермонтов слышал среди кавказских скал не только голос Демона, завораживающий своей смертельной музыкой, но и «памятный глас» матери, которая пела, как по небу полуночи летит светлый ангел-хранитель, и голос матери согревал одинокую душу поэта: *«Выхожу один я на дорогу...»* Ни в Тарханах, ни в Москве, ни в Петербурге, а именно здесь, на Кавказе, он слышал голос матери, именно здесь: *«Я счастлив был с вами, ущелия гор...»*

Поэта занимала личность Ермолова, хотел написать о нём роман, и по дороге на дуэль обдумывал план такого романа, говорил о нём со своим секундантом. Лермонтов, кажется, видел выход из вековой русско-кавказской распри, но не успел свои мысли развить. Его убили – под раскаты страшной грозы в горах Пятигорска.

Салим – в одиночку – вступил в битву с целым курсом зазвездившихся филологов и, конечно, победил «гениев». Хотя я и не сторонница мордобоев, но горжусь моим другом и благодарна ему за любовь к Лермонтову.

«Вот бы мне с ним познакомиться!» – размечталась я. И вскоре делегация наших казахстанских писателей, во главе с секретарём СП, прозаиком Саином Муратбековым, поехала на Кавказ, на Дни литературы, и меня включили в делегацию. Я очень волновалась: мы ведь летели в бывшую казачью крепость Грозную, где ещё со времён Лермонтова и Льва Толстого остались казачьи станции, где до сих пор живут потомки терских казаков, воспетых ими, и я хотела увидеть всё своими глазами, и я хотела, чтобы терские казаки признали во мне свою – я ведь тоже из казачьего рода. Но казаки своей меня не признали, а говорили в один голос, что я татарка, или, на худой конец, из народов Северного Кавказа. Зато признали своей вайнахи. Вот так. Надо сказать, что и первый, и второй мой муж искали в женщинах Восток и быстро нашли его во мне, Олег даже, когда сердился, говорил мне: *«У-у, вреднючая татарча!»* Так что казаки, наверно, не ввали. Ну и ладно! Главное, я – на Кавказе, который давно уже любила по книгам. А что касается моего восточного обличия, так нечего было казакам в своих походах на Восток опустошать гаремы и привозить иноземных жён. Не всех персиянок выбросили за борт, как сделал это злодей Стенька Разин, и вот результат – я!

Приняли нас вайнахи великолепно, и мы шутили, что гостевые столы тут простираются от Кавказских гор до Чёрного моря. Куда бы мы ни приезжали, к нам выбегали люди с криками: *«Олжас! Где Олжас?»* Ждали Олжаса Сулейменова, которого очень почитают в Чечне, но Олжас не приехал.

Из всех динамиков неслись зажигательные ритмы кубинской «Ламбады», которая, не успев появиться, тут же разлетелась по миру, и её пели даже почеченски. Она стала чуть ли не народной песней. Сочетание было странное: суровые старцы в высоких папахах и чёрных гимнастёрках с газырями, женщины в длинных платьях, обязательных платках, с опущенными покорно глазами – и горячая, эротичная «Ламбада». Лезгинка тоже горячая, но это танец воинов, а кубинская «Ламбада» – танец любовной страсти, откровенной в движениях. Правда, я не видела, чтобы её в Чечне танцевали, а вот петь тогда пели, придумав свои слова.

Мы выступали в грозненском театре. Всё никак не могли начать, потому что глава республики, плотный, гневный человек Доку Завгаев то и дело давал разгон устроителям вечера: кричал на них, унижал и всячески показывал, кто в доме хозяин. Это, конечно, несколько портило впечатление от прекрасной страны.

Мы давали интервью телепрограмме «Время», и тут я увидела Салима – он тоже говорил на камеру. Вид у него был совсем не героический: небольшого роста (а я люблю высоких), но ладный, с молодыми, огненно-чёрными глазами. Только глаза были восточными, а так вполне европейская внешность. Пребывание наше на Кавказе сопровождалось неизменной лезгинкой, которая взрывалась внезапно и где угодно, словно дикий огонь. Стучали по капотам машин, как в барабан, в круг вылетали мужчины и закручивался вихрь. Плясал и мой Салим, и тогда преображался, делался ослепительно красивым в гордом изгибе стройной фигуры, в птичьём полёте танца. Вот тогда, за пиршественным столом, я и сказала тост в его честь, грохнув потом бокал о камни, и с тех пор огненные глаза его повсюду следовали за мной, и я краснела и удивлялась его вниманию: ведь на Кавказе столько прекрасных женщин – статных, с прямой спиной, будто кувшины с водой несут на плече, золотоволосых, с гордыми профилями античных богинь, а я на их фоне – маленькая серая мышка, ничем не примечательная, да ещё и стихи бормочу. Я никогда не нравилась себе, и хотя за свою жизнь наслушалась довольно комплиментов от мужчин, которые называли меня красавицей, однако больше верила моей бабушке-казачке Тане:

– Да кака ты красавица? Так, гоженка. Вот моя корова Зорька – то красавица! Ишь, ресницы каки загнутые – ровно месяцы, и волна по лбу.

Но Салим будто знал о моём тайном желании найти его и вдохновенно врал, что я красивая.

– Но у вас же вон какие женщины – райские пери! – уверяла я его.

– А что толку? У них интеллекта – ноль.

Это неправда! Я знала немало умных и толковых чеченок. Просто Салиму они, наверно, примелькались, а я – в новинку, или просто хотел понравиться. Вспыхнул роман – и снова под бешеный вихрь лезгинки. Салим выкрал меня из гостиницы, увёз в горы, где мы ели жыжык-галныш (галушки с мясом в чесночном соусе), серую пастушью брынзу – очень солёную, горячие кукурузные лепёшки, слоёный пирог с тыквой, пили калмыцкий жирный чай и слушали игру на пандуре. Но была погоня, нас выследили. Меня изъяли из кавказского плена, а Салима вернули в лоно семьи, пригрозив неприятностями по партийной линии. Операция закончилась опять лезгинкой и криками: «Асса!»

## Зелимхан

Времена были советскими, но уже тревожными, закатными. Нам рассказали о старинном поверье: мол, люди всегда смотрели, как там Чечня? Если в Чечне спокойно – значит, везде будет мир. Если нет – весь Кавказ всколыхнётся. Так потом и случилось. Я читала свои новые стихи, не думая о том, что они сбудутся:

*«На наших глазах сверхдержава / Почти прогорела дотла. / Она ещё чудом рожала, / Но душу вдохнуть не могла. / И к Богу пошли мы с обидой: / Неужто не выручит Он? / Неужто и мы Атлантидой / Исчезнем в пучине времён?»*

Старики в папахах качали головами и приговаривали:

– Исчезнем, исчезнем...

Вскоре СССР развалится, затонет «в пучине времён», как Атлантида, на Кавказе начнётся война (как тут не верить снам?), многие мои друзья погибнут на этой войне или пропадут без вести. Один из них, поэт и выпускник Высших литературных курсов московского Литинститута Зелимхан Яндарбиев, перейдёт на сторону врагов России.

Познакомилась я с ним по записке алма-атинского поэта Саши Шмидт (теперь он живёт в Германии). Саша и Зелимхан учились вместе на Высших литературных курсах в Москве. В записке Саша просил опекать меня. Зелимхан, суровый лицом – так, наверно, выглядели одинокие абреки – когда прочитал записку, улыбнулся, отчего в лице его появилась неожиданная детскость, и сказал с кавказским акцентом:

– Друг моего друга – мой друг!

И в самом деле не отходил от меня ни на шаг и даже ночью дежурил у дверей моего гостиничного номера и никого ко мне не подпускал, но я всё равно однажды ускользнула от него к Салиму: не устерёл!

После поездки в Ичкерия я стала переводить стихи Зелимхана, мы с ним переписывались, говорили в основном о литературе, но касались, конечно, и событий в угасающем СССР. А потом СССР распался. Зелимхан был настроен на борьбу за независимость своей вайнахской республики от России, для этого была создана политическая организация «Барт» («Согласие»), которую он возглавил. Он романтизировал свою борьбу, как многие начинающие революционеры, которые потом, придя к власти, теряли разум, становились жестокими, да вот хоть взять «доброе дедушку Ленина», объявившего в стране «красный террор». А уж как «добр» был Сталин! Так случится и с Зелимханом. Но пока он искренне верил в избранный путь борьбы и писал гимны моджехеду. Он видел его высоким и благородным подвижником ради веры. Зелимхан и его единоверцы хотели халифата. Я уверяла его, что халифат – это дремучее средневековье, что поэт должен смотреть в будущее, а не в прошлое, он должен писать, а не воевать, быть вне политики, его оружие – перо, а не автомат, не камни, которыми забивают согрешивших женщин. Наконец, как же он может выступать против России, если учился в России, если сам часть стихов пишет по-русски? Зачем ему война? Но Зелимхан рассердился: «Если все так будут думать, кто же станет защищать родину от растленного Запада и коммунистической тирании? Кто вернёт народ к истинной вере? В окопах отсиживаться легко. Кто-то должен принять огонь на себя! А стихи сочинять будем потом...»

Я перестала ему писать, но сердце моё болело за него, за его творчество, за разруху в его Душе, а ведь раньше песни на его стихи, полные чистой любви и печали, трепета перед матерью-наной, перед своей Чеченией, пели по всей Ичкерии. Я горевала о нём и продолжала любить его стихи: «Ты враг народу моему, но не враги стихи...» И наш современник, наш с Зелимханом ровесник – народный поэт Туркмении Атамурад Атабаев, которого я тоже перевела, как бы даёт ответ – и от меня тоже! – Зелимхану:

*«Не дракой мелкою врага, / А Словом порази! / Перо – оружие твоё. Перо, а не кулак. / Грозящий издали гигант стал мухою вблизи, / Для вдохновенья ты рождён, а не для мелких драк. / Творцу нет дела до тщеты, до суетных боёв – / Так краток путь его земной, так нескончаем труд. / Он занят звуками небес,*

*единоборством слов – / Они гармонией своей народы потрясут! / Пусть от работы день за днём гудит твоя спина, / Иди, как пахарь, за строкой, роняя горький пот. / Пусть изматает тебя труд, опустошит до дна, / Но муки совести страшней – никто их не уймёт. / Соль на лопатках – благодать: ты замысла достиг, / Но соль, что в сердце завелась, что в душу заползла, / Источит ядом твою плоть, отравит каждый шаг, / И где пойдёшь искать добро – найдёшь усмешку зла. / Кто строит козни, кто хитёр – опасен, так и знай! / Но ты не бойся хитрецов. Я утверждать берусь: / Улыбка на лице льстеца, а за спиною – край, / Висит над пропастью злодей. Он слаб, он вечный трус. / Кто расточает доброту, кто мужество хранит, / Достоин милости небес и памяти людской. / Ты с ним страданье раздели. Твой голос исцелит / Уставших в праведном пути и ниспошлёт покой...»*

Эпиграфом к этому мудрому посланию всем поэтам Атамурад поставил слова Пушкина: «...И не оспоривай глупца...». Эх, если бы Пушкин послушал сам себя, то, может, и не было бы той роковой дуэли с самодовольным тщеславцем и глупцом Дантесом...

### Поэтов трепетная связь

Если уж я снова с Пушкиным, то скажу о его взаимоотношениях с Польшей и её поэтом Густавом Олизаром. Это будет как раз в тему: друг – враг – поэт. Олизар – потомок польских маршалков, друживший с Адамом Мицкевичем (Пушкин тоже дружил), и Мицкевич даже посвятил Олизару сонет «Аю-Даг». Густав Олизар посватался к дочери Николая Раевского Марии: их сблизила страсть к музыке. Мария чудесно пела, и Густав влюбился в неё, но получил решительный отказ, и Пушкин, тоже увлечённый юной Марией, ликовал:

*И наша дева молодая,  
Привлекши сердце поляка,  
Отвергнет, гордостью пылая,  
Любовь народного врага.*

Потому что:

*Певец! издревле меж собою  
Враждуют наши племена:  
То наша стонет сторона,  
То гибнет ваша под грозою.*

Но Пушкин, выпалив всё это, тут же и полюбил всем сердцем графа Олизара – и за то, что ему отказали, и за то, что Мария к нему равнодушна, а пуще всего за его поэтическую натуру. «Поэтов трепетную связь» он всегда ставил выше политики, и своё стихотворное обращение к влюблённому поляку он кончает возвышенно:

*Но глас поэзии чудесной  
Сердца враждебные дружит –  
Перед улыбкою небесной  
Земная ненависть молчит...*

Пушкин всегда был над схваткой! Молчала и моя «земная ненависть» – перед «небесной улыбкой» яндарбиевской поэзии. Когда он читал стихи перед людьми Шали и Ачхой-Мартана, Грозного, Сунжи, Толстой-Юрта, Ведено, это был чи-

стый человек, и тогда мы не были врагами! Молчит эта ненависть и теперь, когда я листаю его книги в прекрасных переводах выдающегося поэта России Юрия Кузнецова. Нет никакой ненависти – одна печаль...

### Письмена на краю жизни

Судьба Зелимхана трагична. Сначала он, скромный литературный консультант Союза писателей Чечни, вдруг взлетел до невиданных высот – стал президентом Ичкерии. Приезжал к нам в Казахстан, когда в Усть-Каменогорске вспыхнул конфликт между казахами и чеченцами. Улаживал это дело. Сам он родом из наших мест, как многие вайнахи, сосланные Сталиным с Кавказа во время войны. Уехал отсюда мальчишкой в родовое селение Старые Атаги, а вернулся к нам известным поэтом, президентом горской республики. Красивый ходил, в высокой папахе из серебристого каракуля. А потом – стал джихадистом. Проклятый своим народом, бежал в Саудовскую Аравию, где жил в Дохе, под покровительством шейха, ходил с окладистой бородой, в длинной белой рубаше, собирал деньги для террористов – и писал покаянные стихи, где было предчувствие близкой гибели, расплаты за грешную жизнь. Одна из последних книг Зелимхана называется «Письмена на краю жизни».

*«Всё отошло, улетучилось, как не бывало, / Душа, онемевшая, будто готова смириться: / Нет ей прощенья, словно время настало / Судного дня и карающей Божьей десницы...»*

*«Кружась, под ногами земля моя перевернётся, / А я всё бегу, я устал, но мой бег не прервётся. / Как будто могу я кого-то согреть своим светом, / Как будто я вижу хотя бы свой путь в мире этом...»*

*«Я память раздираю на куски, / Ищу спасенье. Не могу понять: / Ужель так мало сделал для души, / И ничего нельзя уж поменять? / И вновь ответа я не нахожу. / И я не знаю, где найти ответ. / Всё в прошлом, и туда дороги нет. / Не мне должны, а я кругом в долгу – / Пред всеми, с кем по жизни я иду... / Сплюшь я в долгу – а мне должны лишь смерть...»*

Эти стихи Зелимхан перевёл сам, так как все русские поэты отказались его переводить. Зачем он, враг России, хотел видеть свои стихи на русском языке? Может, в этом было его раскаяние перед ней, перед русскими друзьями, которые любили его когда-то? А может, всё проще: на чеченском его могли прочитать только чеченцы, а на русском – весь мир. Он хотел остаться в памяти мира.

В октябре 2003 г. Комитет Совета безопасности ООН по санкциям в отношении талибов, организации «Аль-каида» и связанных с ними лиц, по предложению России включил и Яндарбиева в свой «чёрный список». Решение Комитета обязало государства – члены ООН заморозить счета Зелимхана, исключить предоставление ему какой-либо материальной помощи, а также запретить въезд на свои территории или транзит через них.

Через год, в одну из пятниц, по дороге из мечети Зелимхан Яндарбиев был взорван в своём автомобиле, вместе с 13-летним сыном Даудом. Господи, сына-то за что? Сын выжил, а Зелимхан погиб. Обо всём этом я узнала из новостей ТВ. Говорят, взорвали его агенты российских спецслужб, в Дохе даже арестовали двоих предполагаемых исполнителей покушения, и катарский суд приговорил их к пожизненному заключению.

Вдова Зелимхана, Малика, хотела издать стихи мужа (на двух языках: чеченском и русском) в России или в одной из постсоветских республик, но никто не согласился. Обращалась за помощью и ко мне, но я тоже уклонилась. Издали на Украине, где, как мы теперь видим, давно назревал фашизм и ненависть к России. Украина, после распада СССР, и создавалась не как государство Украина, а как государство Анти-Россия, что изначально обрекало страну на гибель и распад, и сейчас мы это наблюдаем с горечью.

А поэт Ямлихан Хасбулатов не пережил братоубийственной бойни, разрухи, потери близких и друзей. Он сошёл с ума. Говорят, там, на Кавказе, после последней русско-чеченской войны было немало душевнобольных. В России же до сих пор оплакивают юных мальчиков, убитых на этой войне. В любой войне правых нет никогда! Древние китайцы говорили: «Тот победил, кто войну не начал».

*«...Неужели с той давней крови, / С восклицанья: «Где брат твой? Где Авель?»,  
/ Мы вражду в совершенстве узнали, / Не сумев научиться любви...»*

## До войны

Незадолго до войны Салим прилетел ко мне в Алма-Ату, да не один, а с другом, представителем Министерства культуры Ичкерии по имени Джебраил. Это был колоритный, крупный человек с актёрскими манерами – профессиональный певец. Рассказал о себе такую историю.

В юности жил в Грузии, потому что учился в Тбилисской консерватории. А какая там студенческая стипендия? Кот наплакал. Жил впроголодь. Тут товарищ по курсу, грузин, работу нашёл: плотники нужны, в православный храм. Там шла реставрация. Платили хорошо. Несколько человек согласились. И Джебраил пошёл. В храме узнали, что ребята из консерватории, давай сманивать их в церковный хор. Мол, это куда как лучше плотницкой работы, опять же по профессии. Все пошли в хор, и Джебраил пошёл. Что ж, пение, пусть и в православном храме, не грех. Такая же работа, как в любом другом хоре, рассудил он. Поёт. Голос у него красивый, сильный.

Тут подошёл большой православный праздник – Пасха. Торжественная литургия. Всю ночь пели. Утром батюшка приказал накормить певчих и сам с ними разговелся. Певчие подходили к нему, крест целовали, и батюшка со всеми троекратно целовался: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!» Подошла очередь Джебраилу. Он не двигается с места.

– Что ж ты, сын мой, не христосуешься со мной и крест не целуешь? – спрашивает батюшка.

– Я не могу, я другой веры!

– Какой же ты веры?

– Мусульманской.

– А что ж ты делаешь в нашем храме?

– В хоре пою, у вас песнопения красивые, но верую в Аллаха, потому не могу крест целовать.

– Тогда дай, я сам тебя поцелую! – и расцеловал его. – Вот! – повернулся к певчим. – Вот как надо веровать – как этот человек!

\* \* \*

А другой горячий горец – дед моего Мирабо, Борис Бек-Софиев, крест поцеловал, хотя был мусульманином, носил имя Оскар. Оскар Искандерович. Но тут – любовь, тут романтическая история. Служа в одном полку с Николаем Родионовым, влюбился молодой Оскар в его дочь, синеглазую и своенравную красавицу Лидию. Она лихо скакала на коне, музицировала и прекрасно пела стихи Лермонтова. Она была обворожительна! Оскар потерял голову. Решил не медленно жениться! Но семья Родионовых поставила условие: крестись! Иначе дочь не отдадим. Оскар кинулся к отцу – тоже военному, генералу. Отец пришёл в ярость: как можно поменять веру? Бек-Софиевы – из рода мулл и шейхов. Пригрозил:

– Ослушаешься, прокляну! И тебя, и твоё потомство!

Метался бедный влюблённый, горел в огне, но любовь пересилила отцовское проклятие. Принял молодой Бек-Софиев православие, стал Борисом Александровичем, женился на Лидии Родионовой. Отец запретил упрямому сыну переступать порог родительского дома, и никогда больше не виделись отец с сыном, а мать – татарская княжна из Золотой орды Мекалина Якубовская – тайком встречалась, плакала, передавала гостинцы внукам. Мирабо считал, что все несчастья его рода: гражданская война, беженство, гибель родственников в сталинских лагерях, наконец, наркомания его сына – это проклятие прадеда.

\* \* \*

Кавказских гостей я принимала на квартире моей подруги Руты – она как раз уехала в Томск к детям, а я стерегла её «хоромы». Обстановка в «хоромах» была бедненькая: самодельная мебель, продавленные диваны, сломанная сантехника, зато много книг. Гости мои были немного удивлены тем, как живут поэты. Думали, наверно, виллы у нас, как у Горького на Капри. Какие виллы! У меня и угла-то своего тогда не было – коммуналка с женатым сыном и осиротевшим свёкром. Начало 90-х. Зарплату нам не платили месяцами. С едой туго. Гости мне кормить было особо нечем – испекла капустный пирог, варила кукурузную кашу, полагая, что они должны любить кукурузу, ведь дома едят мамалыгу и кукурузные лепешки.

Однажды я услышала из кухни, куда удалилась помыть посуду, их разговор в зале: они всячески поносили Россию и русских, при этом говорили на русском. И такая ненависть была в их словах! Главные обвинения, конечно, эти: «колонизаторы», «русская тирания», «агрессоры!». Надо было бы выйти, накричать на них, выгнать к чёртовой матери! Но я вовремя остановилась: во-первых, они всё же мои гости – нельзя! Во-вторых, представила, как неловко им будет, что я всё услышала, и мне станет неловко, хуже даже, чем теперь. Нет, не надо вмешиваться! Был и третий резон, который оправдывал моих гостей. Слова их – это же не ненависть лично ко мне, меня они любят, как и я их («Знать, так вражда связала нас, что перешла в любовь...») Это давняя боль Чечни, которая долго воевала с Россией. Не выгоревшая ещё до дна боль. Из XIX века она, как ядовитая змея, переползла в век XX-й: во время Второй мировой войны вайнахи – по приказу Сталина – были согнаны с родных вековых мест и сосланы в наши степи и в Сибирь, как преступники – все, включая грудных младенцев. Салим как раз был тогда младенцем. В дороге многие его родичи и соседи умерли. Чеченские

девушки были так стыдливы, что отказывались справлять естественную нужду при всех и умирали от разрыва мочевого пузыря. И такое было – Салим рассказывал мне. Покойников выносили из скотных вагонов на пустынных полустанках и закапывали. Могилы те давно сравнялись с землёй. Только рыжие каскыры да ветра воют над их прахом, только ковыль печально клонится, только горькие корни кокпека оплетают их кости. Русский народ тут, конечно, не виноват – он и сам страдал. Но русские цари, а потом коммунистические вожди России стали ассоциироваться с самой Россией, и гнев против них попадал в русских, и до сих пор попадает. Обида заставляет забывать всё хорошее, что сделали русские на Кавказе (и в других советских республиках), помнится – плохое.

Ничего я не сказала Салиму и Джебраилу, а поведала одну восточную притчу. Как-то охотник нашёл в Степи несчастного, брошенного щенка. Выкормил его, согрел любовью, холил, а щенок вырос и оскалил зубы, и укусил охотника. Подобрал охотник мальчишку-сироту, обогрел любовью, научил метко стрелять из лука, а мальчишка вырос и сделал охотника своей мишенью. Абай стихи написал по мотивам этой притчи:

*Собаку я выкормил из щенка –  
И зубы её испытал.  
Меткости я научил стрелка –  
И сам я мишенью стал!*

– Для чего ты рассказала нам эту притчу? – насторожились мои гости.  
– Не знаю... Просто так... Вспомнила!

Но гости, мне кажется, стали глядеть на меня с некоторой опаской, и теперь между собой говорили только по-чеченски. И затосковали они по своим чеченским галушкам, по жижиг-галнышу, и затосковали по родному дому, вконец озверев от моей кукурузной каши. И вот в один прекрасный вечер рванули к вайнахскому знакомцу, чудесному оперному певцу Султану Байсултанову. И там уж отвели душу! Наелись любимого жижиг-галныша, и я с ними, благоухая чесночным соусом, но сначала катала тесто для него вместе с женой Султана, и она меня посвящала в секреты этого старинного чеченского блюда.

Потом началась художественная часть застолья: Султан спел арию Ленского из «Евгения Онегина», а Джебраил старинную вайнахскую песню, от которой заплакала даже я, не понимая ни слова по-чеченски, – такая она была грустная и трогательная, да и голос божественно прекрасный. Салим читал любимого Лермонтова. Попросили и меня что-нибудь прочесть. Уже был написан кавказский цикл и я читала о Кавказе, а также стихи, посвящённые Салиму, и он гордился, что воспет русской женщиной, и он восклицал в восторге:

– Вах! Всё-таки Кавказ победил русских!

Конечно, победил: мой друг был влюблён, и я была влюблена.

*«...Не птицы звенят, а весенние колокола. / Я вышла оттуда, куда без надежды вошла. / В глазах обречённых я видела гаснущий свет, / В палате для смертников, в доме, где выхода нет, / Где, скорчившись, люди лежат, отвернувшись к стене, / Где плакать нельзя, потому что поверили мне, / Весне за окном, белоснежным шарам хризантем – / И я улыбалась, и жизнь обещала я всем! / Я вышла оттуда, куда без надежды вошла. / Так что же любовь меня вышибла из седла? / Поймала арканом, запутала, сводит с ума: / Гоню её прочь – и за нею бегу я сама.*

– Очнись, отрекись, ведь чужое! – внушает мне стыд.

- *Пойди, разори и возьми!* – мне любовь говорит.
- *Не тронь! Он не будет твоим – разделяет вас кровь.*
- *Не надо на век, пусть на миг!* – отвечает любовь.
- *Оставь эту блажь, отпусти, позабудь, не зови!*
- *Ты видела смерть – неужели боишься любви?*

*И только Судьба молчалива. Молчит и сейчас. / Зачем же тогда ты свела, окаянная, нас?..»*

\* \* \*

Салим и Джебраил приезжали не только ко мне – у них был запланированный визит к нашему правительству. Хотели договориться о признании Казахстаном самопровозглашённой Ичкерии, хотели открыть в Алма-Ате представительство новой республики и предлагали мне возглавить это представительство, но я вежливо отказалась. В нашем правительстве их не приняли, и мои гости в гневе хлопнули дверью. Они были, по сути, детьми, игравшими в большую политику. Но они – мои друзья, и я молчала, хоть и не разделяла их порывы, может быть, и прекрасные. Я тогда не знала, что порывы эти приведут к войне. Да и вообще, как известно, Восток – дело тонкое, лучше не вмешиваться. Я полюбила Кавказ, я писала о нём – и это было главное!

Потом была встреча в Москве. У Салима пылали глаза, у меня – щёки. Салим просил читать стихи о нём, и я читала:

*«...Я – пыль на лунной каменной дороге, / Я – дождь, к твоей летящий седине. / И если вспоминаешь ты о Боге, / Закрой глаза и вспомни обо мне! / Я быть хочу твоим вайнахским словом, / Чтоб ты носил меня на языке. / Ещё хочу быть ласточкой под кровом, / Слетающей легко к твоей руке. / И кукурузным хлебом, и осенним, / С кислинкой первой, молодым вином, / Ещё – грозой, ещё – землетрясением, / Чтоб вспомнил ты, чтоб я вошла в твой дом! / Я быть хочу Шатойскою горою, / Травой сырою – ты на них взгляни! / Я так люблю, что и лицом порою / Похожа на горянку из Чечни. / Хочу забыть себя и стать тобою, / Войти в тебя и кровью стать твоей – / Великою, ничтожною, любовью, / Чтоб только смерть нас разлучила с ней!»*

Через каждую строфу, когда я переводила дух, Салим восторженно восклицал:

– Вах! Умираю – люблю!

Я закончила читать, и он – в порыве любви – предложил:

– Хочешь, прямо сейчас поедем в Большой театр?

– Да какой Большой театр, ведь глубокая ночь?

– Ну и что! Ваха всё устроит!

Ваха – оруженосец. Имя его означает: «Живи». Ваха, с неподвижным, суровым лицом, сидел поодаль и зорко следил за моим поведением, готовый в любой момент обнажить воображаемый кинжал. Я знала, как однажды Ваха вступил в схватку с целой оравой бандитов, напавших на моего друга, и раскидал их, как отдал свой дом многодетному бедному родственнику, а сам жил во времянке на огороде, как спас ребёнка на улице, когда на того накинута взбесившийся пёс. Ваха собаку убил, но она всё же успела покусать Ваху, он чуть не умер, но лечился и выжил.

Я не хотела в Большой театр, не хотела полетать над Москвой на вертолётё, не хотела сто порций пирожных. Ничего не хотела.

И Салим расстроился:

– Ну, ну! Ну желай хоть что-нибудь! Всё достану – клянусь!

(У чеченцев через слово идёт: «Клянусь!», будто они постоянно принимают военную присягу).

И Ваха пробасил, с угрозой поигрывая воображаемым кинжалом:

– Желай!

Потом, в ресторане живой тогда ещё гостиницы «Россия», он вместе с Вахой заказал всё меню – оно кое-как уместилось на трёх столах, заставил Ваху купить два ведра роз (розами торговали в холле гостиницы, и продавец чуть с ума не сошёл от счастья), Ваха заплатил оркестру, и была сыграна лезгинка, под которую Салим вместе с Вахой сплясали.

– Откуда у тебя такие деньги? Ты что, Рокфеллер?

– Почти! У меня нефтяная скважина.

Врал, конечно. Просто хотел пустить пыль в глаза – кавказцы это любят. А может, и не врал. Нефть в Ичкерии есть. На обеде присутствовал мой брат Володя, живущий в Москве. Вот он и прекратил всю эту вакханалию неудержимой кавказской щедрости.

Он напрямую сказал Салиму:

– Или женись на моей сестре, или не морочь ей голову!

Брат не знал, что цикл «Мой Кавказ» уже дописывается, и любовь моя на закате. Запретная любовь! Да и Мираж, который продолжал сниться даже в разгар моих романов, не одобрял моё кавказское увлечение – во сне он глядел с укором, проходя стороной по длинной дороге, которая терялась в тумане, но там, за туманом, видела я чудесные пейзажи: горы и леса, и долины в жёлтых ирисах, и жемчужные нити рек. Оттуда веяло утренней свежестью, чистотой, счастьем. И звучала тихая Музыка.

Тут случилось одно событие, которое и положило конец моим отношениям с Салимом. Однажды ночью моего сына Дениса избили бандиты. Выбили зуб, нож приставляли к горлу и там остался кровавый шрам. Били так, что он несколько раз терял сознание. Раздели. Пожилая пара, увидев в окно побоище, вызвала милицию, а Дениса старики завели к себе, он умылся, дали ему какую-то одежонку, чтобы до дома дошёл – был конец осени и уже подмораживало.

После той страшной ночи я впала в печаль, я молилась: «Господи! Забери, что хочешь, но оставь мне сына! Не трогай сына!» В исступлении горя меня вдруг осенило: «Салим! Когда Господь не может вразумить нас, он вразумляет через детей наших. За Салима, за мою греховную связь с ним Господь карает меня, ведь Салим женат. Может, жена его догадалась о нашей связи и прокляла меня, и послала проклятье на голову моего ребёнка. Вот оно что, вот где исток несчастий, вот за что я должна каяться... Господи! Разведи, раздели меня с Салимом, верни покой его жене – ради всего святого, ради моего сына! За сына прошу!»

И Он развёл. И Он послал мне Мирабо. И я вспомнила слова одной провидицы, которая говорила мне за полгода до этого:

– У тебя сейчас затмение сердца... Твой суженый придёт с юга, с Востока, изначально он был другой веры... Вижу цифру 45... У вас будут дети одного возраста...

Я тогда не поверила гадалке: какие дети, да ещё одного возраста? И думала, что Салим – мой суженый: с юга, с Востока. Оказалось, Салим – «сердечное зат-

мение», а суженый мой – Игорь Бек-Софиев, чей род тоже с Кавказа. И пришёл Игорь, когда мне стукнуло 45 лет. Его сын Ярик и мой Денис – одного возраста: оба родились в 1968 году. Предки Игоря были в самом деле другой веры – мусульмане. Всё сошлось в свой день и час, предопределённый свыше, и провидица это знала.

\* \* \*

После распада СССР началась новая русско-кавказская война. И в те страшные 90-е годы, переживая за близких мне людей по обе стороны окопов, я снова молилась:

*«Как много нынче скорбных и гонимых. / Не от дождя – от крови Степь свежа. / О Господи! Обереги любимых / От клеветы, от пули, от ножа, / От вероломства, ярости и мщенья. / О Господи! Все силы призови, / Обереги их разом от затмения, / Оставь им сердце для моей любви. / Я прорасту польнюю голубую / На мёртвом камне, проклятом судьбою, – / Его пронзит моя живая дрожь. / О Господи! Вот я перед Тобою – / Неужто Ты меня не узнаёшь? / Вот я перед Тобой, Всеблагий Боже, / В сиротском платье, в простеньком платке, / Я жалкая, я грешная, и всё же – / Я жилка жизни на Твоём виске. / Я бьюсь в тоске, я бьюсь в зверином крике, / Ведь без любимых жизнь моя пуста. / О Господи! О Господи великий, / Оставь им сердце, душу им оставь!»*

Я узнавала от чеченских друзей, что Салим жив, и Джебраил жив, и Ваха жив, хотя через Грозный, и через Ачхой-Мартан, и через селения на реке Валерик, где жил мой Салим, прокатилась война. Но они живы – и я была счастлива, и снова благодарила Господа.

## ПОЭЗИЯ ЖЕЛУДОЧНЫХ СПАЗМ

### Девяностые годы

*«Годы постные, девяностые – корка хлебушка да вода...»* Мы с Игорем полюбили ходить в гости, где нас вынуждены были угощать. Особенно у моей подруги Геры. Родственники присылали ей с Алтая солёное сало, облепиховый сок, кедровые орехи, один раз даже огромного гуся прислали, и Гера щедро делилась этими дарами с нами, и мы их принимали. Потеряли всяческую совесть! Но и знакомые наши, переступающие через муки совести, тоже ходили в гости – к нам, и мы выставляли на стол всё, что ещё осталось в холодильнике. Изловчились делать горячие бутерброды, печенье из сухарей, запекать яблоки-падалицу в духовке, раскладывать на красивом блюде кильку с кудрявой зеленью. Выглядело даже изысканно. А ещё мы сами делали сливочное масло. Удивительно, но при дефиците всех продуктов в свободной продаже была сметана. Во все времена! Мирабо поражался этому, когда в середине 50-х приехал в Алма-Ату из Парижа: во Франции сметану едят крошечными порциями, как добавку к разным блюдам, а в советских столовках люди ели её стаканами. Вот мы с Мирабо и покупали эту сметану, закрывали плотно стеклянную банку, и Мирабо начинал банку трясти. Тряс до тех пор, пока не сбивалось масло. Выливали обрат, а масло вынимали, подсаливали, скатывали в холодной воде масляный шар и замораживали. Отменное получалось масло! Кроме того, у меня было приданое – двадцать банок мясных

консервов. Невиданное богатство! Банки достались мне от моего предыдущего мужа, Олега. Он был заядлым коллекционером и собирал всё подряд: марки, спичечные коробки, книги, сигаретные пачки, значки, монеты разных стран, открытки и... банки с консервами Семипалатинского мясокомбината, которые переехали вместе с нами с Иртыша в Алма-Ату. Они береглись на чёрный день. И чёрный день настал – с развалом СССР. Консервы, с помощью наших голодающих друзей, были уничтожены мгновенно. А как-то я перевела стихи одного казахского поэта, и он расплатился со мной бидончиком сгущёнки, вынесенным с молокозавода, где работал технологом. Как говорил Некрасов: «*Вынесет всё, и широкую, ровную грудью дорогу проложит себе...*» Снова ели в компании друзей, которые тут же пришли в гости. Правда, один из них, видимо, всё же совестливый, принёс к столу засохший тульский пряник. Мочили в кипятке и грызли, заеда ложками сгущёнки. С тех пор я её терпеть не могу!

Бегущие в Америку друзья, писатель Юрий Герт и его жена – синеглазая красавица Анна Петровна, на прощальном обеде предложили всем, кто их провожал за океан, в сытую жизнь, маленький, самодельный торт из манной крупы, разрезанный на крошечные порции, но густо посыпанный сахарной пудрой из заветных запасов. Зато было много чая – всё из тех же запасов. Он долго лежал, утратил свой аромат, но гордо назывался индийским, дефицитным – «Три слона». Гертов мы провожали как в последний путь, ведь надежды, что ещё увидимся, тогда не было. Это теперь можно свободно передвигаться по свету, а тогда каждый, кто уезжал за бугор, считался предателем родины и вычёркивался из списка живых.

## Юрий Герт

Ах, Юрий Михайлович! Вечный романтик. Он периодически влюблялся в молодых девушек, приводил их домой – на досмотр жены. Анна Петровна была с девушками ласкова, чаем поила, потом говорила мужу:

– Проводи гостью!

Девушка смущалась:

– Да не надо, не надо! Я сама!

– Пусть проводит! – настаивала Анна Петровна. – Ему приятно побыть с молодой девушкой, это его вдохновляет. Он же писатель!

И девушка покорно соглашалась, а он, провожая по тёмным аллеям парка, говорил ей разные красивые слова, но потом забывался, пускался в сложные философские рассуждения, пока вконец не замучивал девушку. Другой раз она уже всеми силами уклонялась от свидания, но это было неважно: она всё равно попадала в героини его книг!

Однажды и я попала – в образе медсестры, он ей даже имя моё дал, и вот после чего. Мы с Гертом долго гуляли по терренкуру, он поглядывал на меня смущёнными глазами, делая многозначительные паузы, но я наклонялась к воде, брызгала на Герта цветной радугой и смеялась. Он краснел, как мальчишка, бес-толково рвал одуванчики вдоль берега, церемонно дарил мне и снова краснел – большим иудейским носом. Он так и не решился на поцелуй, хотя несколько раз делал боевую стойку. Я всё видела и не помогала ему в его любовных мучениях, потому что не могла предавать Анну Петровну, которая была мне подругой, да и

целоваться с Гертом мне совсем не хотелось, а вот играть с огнём нравилось. Зато как разбушевало у Герта вдохновение после нашей прогулки по терренкуру! И всё же, поскольку все любви Юрия Михайловича были искусственными, то и в книгах его любовные сцены напоминали бумажные цветы, а вот философские рассуждения всегда привлекали остротой ума и свежестью.

Я тут же вспомнила другого писателя, которого жена так же опекала, как Анна Петровна Герта. Водила за ручку «изучать жизнь».

Однажды привела к осиному гнезду:

– Вот, пусик, наблюдай жизнь!

Но осы не поняли высоких порывов писательской жены и жестоко покусали пусика. От осиного яда он быстро стал опухать и задыхаться. Жену яд не взял! Вызвали «Скорую». Врачи «Скорой» были все перебинтованы, будто вернулись с фронта. Оказалось, по дороге их машина свалилась в канаву, на канализационные трубы – там шли ремонтные работы, но предупреждающей таблички не было. Изувеченные доктора реанимировали писателя и вместе с ним легли в больницу залечивать раны. Так пусик во всей красе узнал жизнь! И теперь, вместо романтических стихов, стал писать язвительные басни, а также злобные доносы на товарищей по перу. Осиный яд из него так и не выцедили, хотя делали переливание крови...

Перед тем как Герты уехали за океан, было землетрясение, как раз на Новый год. Я к ним пришла с Олегом (вскоре его не станет), прибежали по-соседски и Сергей Иванович Шубин с молодой женой Верой Савельевой – румяной с мороза, в белой вышиванке, прелестной от влюблённости в большого, чудесного Сергея Ивановича, который тоже был в состоянии восторга «любви первоначальной», едва пережив смерть матери троих своих детей. Счастье и трагедия, видимо, так переплелись, что вызвали потрясение земли. Оно длилось мгновение, но запомнилось.

С Гертами мы больше не увидимся, но были письма, в которых Юрий Михайлович рассказывал, что живут они в районе, где селятся негры и прочие выходцы из стран третьего мира, где не с кем говорить, потому что английский язык не даётся. Дочь Гертов вместе с мужем и маленьким сыном неплохо устроилась в Нью-Йорке: он химик, она врач, но к родителям не приезжают – стесняются их нищеты. В Америке нищета – позор, а разговор о проблемах – дурной тон. Пожаловаться, душу излить было некому, а на родине любой мог выслушать и посочувствовать, в Штатах же каждый справлялся со своей жизнью сам, и это особенно убивало Гертов.

В Казахстане Юрий Герт был известным и хорошо издаваемым писателем. Написанный им в начале 60-х годов смелый и даже дерзкий роман «Кто, если не ты?» стал настольной книгой молодёжи. Я тоже в юности была его фанаткой. Поэт Валерий Антонов стихи Герту посвятил, где набросал его портрет и где как раз упоминает этот роман:

*«Юра, Юра! Шевелюра, / Юра-Юра – голова, / Что глядишь, дружище, хмуро? / Всё на свете – трын-трава! / Как мне дорог этот профиль, / Этот на сторону нос, / И над чистым глазом брови / Грустно вскинутый вопрос. / Как добрее я от фаса, / Где ни тени суеты, / Где одна святая фраза / Только: «Кто, если не ты?» / Юра, Юра! Пуля-дура, / Но и жертва не умней. / Что твоя литература / Для осанистых парней? / Жаждет крови, жаждет секса, / Жаждет жизни деловой /*

*Эта каста, эта секта, / Этот возраст нулевой. / Так откуда же, откуда / Этот стон по их судьбе? / Эта мука, это чудо, / Тяга к вере и борьбе?..»*

Название книги – «Кто, если не ты?» – Герт взял из Библии. Он изучал и Библию, и Талмуд, и Коран. Как-то мы долго беседовали о противостоянии Христа устаревшим представлениям о миропорядке. По мнению Герта, Христос был революционером, выступив с Новым Заветом против Завета Ветхого, а со всеми революционерами Герт чувствовал родственную связь: у него в самом деле была «тяга к вере и борьбе». Из Талмуда рассказал притчу о терновнике. Выбрал он её, думаю, всё потому же: его всегда занимали вопросы власти, психология властителей. Под впечатлением этого рассказа я написала стихотворение, которое так и назвала: «Притча о терновнике», и благодарна Юрию Михайловичу за этот подарок.

*«То ветры грохочут, то ливни, / То зноем подёрнулись дали. / Склонились деревья к маслине: / «Главенствуй над нами! – сказали, – / Найди на стихии управу, / Цари в поднебесье высоко!» / Отвергла и почесть, и славу, / Плоды наполнявшая соком. / Тогда зашумели деревья, / Склонились к смоковнице спелой. / Ответила смоква: «Издревле / Плоды приносить моё дело!» / Склонились к лозе винограда: / «Вставай, золотая, над нами!» / Лоза отвечала: «Мне надо / Лишь солнце да мир над холмами!» / Грохочут ветра над пустыней, / И зной тяжелеет над нею. / В тени, меж садами густыми, / Бесплодный терновник темнеет. / Повсюду и свисты, и стоны, / Птенцов оперившихся игры. / Склонились могучие кроны: / «На царство иди, остроиглый!» / И встал, озирая долины, / Ответил в спесивой гордыне: / «Пусть смоква, лоза и маслины / В тени моей будут отныне! / Гнездятся в ветвах моих грозы – / Огонь мне на царстве поможет: / Сожжёт он и смоквы, и лозы, / И рощи масличные тоже!»*

Постарев, я полюбила другую – лирическую – книгу Герта: «Солнце и кошка». О благодатном лете детства, о моём возлюбленном Крыме, о сладком запахе ренклода, из которого варят варенье, и овечно это действие мелодичным пением пчёл и южного зноя, о первой стыдливой любви, об ослепительном солнце счастья...

Всё, что написал Юрий Михайлович в Америке, отравлено раздражением. Он не мог забыть, как мальчиком его унижали – за то, что еврей, что кучеряв, слаб и не способен к дракам. Дворовые ребята его постоянно били. Обычная пацанская жизнь, но Герт воспринимал это как проявление антисемитизма. Детская обида перешла в ненависть, в книгу «Эллины и иудеи», где он свёл счёты со многими бывшими друзьями, в том числе и с поэтом Валерием Антоновым, который в молодости написал о нём восторженные стихи, а на склоне жизни стал принимать в штыки гертовскую манию антисемитизма. Юрий Михайлович проклял «Простор», где проработал, наверно, лет сорок: не простил журналу публикацию статьи Марины Цветаевой «Вольный проезд», где она описывает, как в голодные годы мыла пол у богатой еврейской четы, чтобы прокормить детей (кстати, рожденных от еврея Сергея Эфрона). Её маленькая дочь Ирина умерла от голода, а еврейская чета, платившая гроши, носила на шее золотые слитки. Герт поставил ультиматум журналу: или я – или Марина Цветаева. Была выбрана Цветаева. И Герт ушёл из «Простора», хлопнув дверью, а потом покинул страну. Возможно, этот демарш был ему нужен, чтобы оправдать своё бегство. В книге «Эллины и иудеи» он вспомнил все свои обиды. Читать книгу было неловко и больно, хотя обо мне он там сказал хорошо. Старость у Герта получилась горькой. И смерть встретил

он на чужбине, в инвалидном кресле, всматриваясь с балкона в туманную даль своей прожитой жизни, где видел крымские холмы, блеск полуденного моря, мальчика, который бежал по бесконечному полю цветущей лаванды навстречу матери – обведённая тремя радугами, золотая, ослепительная, она глядела на него с такой любовью, с такой лаской, что восторг и слёзы перехватывали дыхание. И однажды он задохнулся навсегда...

### Сергей Лукьяненко и ящер

Иногда к нам в гости приходил Сергей Лукьяненко, тогда ещё студент-медик и начинающий писатель-фантаст. Мировая слава придёт к нему позже, особенно после фильма «Ночной дозор». А познакомились мы с ним следующим образом. Журнал «Простор» решил привлечь молодого читателя и для этого открыть рубрику «Путешествия. Приключения. Фантастика». Решить-то решил, а кто будет рубрику вести? Фантастику в коллективе никто не любил, потому и рубрику брать никто не хотел. Тогда вспомнили, что мой сын – фанат фантастического жанра, у него лучшая в городе библиотека фантастики, и вот меня, как мать любителя фантастики, бросили на эту линию фронта. Я ни черта не смыслила в такого рода литературе, могла позорно проколоться при первом же общении со знатоками, но делать было нечего, и я взялась за дело, постоянно консультируясь с сыном. Удалось привлечь в журнал известных в то время писателей: Бориса Стругацкого, Кира Булычёва, Геннадия Прашкевича из Новосибирска, молодых фантастов из Ленинграда и с Урала. Тут и появился в редакции юный Сергей Лукьяненко со своими первыми рассказами. Он был ровесник моего сына, и я их подружила. Сергей стал приходить к нам домой, и, как всякий студент, не отказывался от обеда. Мы его могли угостить только салатом из капусты или самодельными лепёшками, но он и этому был рад. Познакомился с нашим дедом – Геннадием Николаевичем Новожиловым. И один его мистический рассказ даже записал и включил потом в какую-то из своих книг.

А рассказ вот о чём. Геннадий Николаевич много ездил по республике с кинокамерой, видел много интересных людей и диковин, и написал, что посреди Аральского моря, на острове Барса-Кельмес («Пойдёшь – не вернешься») в отвесной земляной скале над морем под ударами ветра обнажилось огромное яйцо динозавра. Пригрелось на солнце – и вылупился из него детёныш доисторического животного, зверь-птица, которого местные жители прозвали Жалмауз. Потом начался джут.

*«Овцы не могли пробить копытами смёрзшийся слой снега, чтоб добраться до травы, и, напрасно изранив ноги, погибали от бескормицы. В ту зиму целый аул откочевал на Суджок. Арал не всегда замерзает так далеко, но в тот год море замёрзло, и люди со скотом перешли на остров, где снега было меньше. Но тут начались ветра, лёд взломало и угнало в море. Что произошло дальше – никто не знает...»*

Назад кочевой аул не вернулся. Весной на Суджок на лодке поплыл один чабан искать пропавший аул. Он обнаружил страшную картину: Жалмауз пожрал и овец, и людей, а потом сдох, завернувшись в свои чёрные крылья, как огромная летучая мышь. Чабан взял себе зуб чудовища, похожий на кусок мрамора размером со стакан. Геннадий Николаевич не сказал только, что сам не видел ни зуб, ни дино-

завра, а знает об этом со слов чабана. Рассказ об уникальном случае напечатала республиканская газета, перепечатали союзные издания, и её прочитали члены клуба любителей фантастики и аномальных явлений при МГУ и дружно решили: Жалмауз, скорее всего, вымерший ящер Юрского или, быть может, Пермского периода – века пресмыкающихся исполинов, населявших тогда землю. Яйцо с Жалмаузом пролежало в земляной скале сотни миллионов лет и чудесным образом ожило. Снарядили на Арал экспедицию, но экспедиция ничего не нашла. Чабана в ауле не выдавали или говорили, что он умер. Зуба тоже не обнаружилось: мол, сдали всё в музей, а в какой – никто не знал. Короче, морочили голову.

– Так был динозавр? – спросил Лукьяненко.

Геннадий Николаевич рассмеялся:

– Да конечно же нет! Я сразу догадался, что чабан всё придумал, но байка его мне показалась занятной, и я написал рассказ, но не рассчитывал, что выдумку примут за научное открытие.

## Притча о госте

Я дружила с уйгурскими поэтами Савутжаном Маматкуловым и Учкуном. Учкун бежал из Китая от политического преследования, но и здесь к нему было неоднозначное отношение: подозревали в шпионаже. Умер внезапно, при загадочных обстоятельствах. А я вспоминаю, как в одном из уйгурских сёл Панфиловского района, в персиковом саду, мы с Учкуном танцевали под музыку дутара, и Учкун всё время краснел и вздыхал. Ну, думаю, влюбился! Наконец, набрался смелости: «Я хотел признаться вам... В общем, не согласились ли бы вы меня переводить?» Я рассмеялась, а он удивился, и снова покраснел, и стал читать строфы любви, посвященные неведомой мне, но наверняка прекрасной женщине:

*«Твоё письмо сундук хранит, как пёс. / Твои следы полны сердечных слёз. / Хочу уйти, но я опутан цепью, / Сплетённую из чёрных твоих кос (...) Ты свет небес – я степь в твоём огне. / Ты океан – я берег при волне. / Живую воду, свет животворящий / В тебе одной судьба дарует мне...»*

Я перевела и эти его рубайяты, и стихи Савутжана Маматкулова, и целую книгу уйгурских поэтов СУАР (Синьцзян-Уйгурское автономного района) – ею как раз занимался Савутжан. Поэты СУАР на родине, в Китае, были под запретом. Они писали о свободе, о сопротивлении китайской тирании и агрессивной китаизации уйгуров. Один из самых почитаемых в СУАР поэтов Абдукарим Ходжаев, который тоже писал об этом, продолжал любить древнюю, прекрасную китайскую культуру, поэтов Китая, и говорил, что это – океан, и многие культуры – ручейки против него. Он выучил китайский язык – не только для бытового обихода, но и чтобы наслаждаться поэтическими откровениями и философской мудростью этой страны. Он был проповедником китайской литературы, но не мог терпеть рабства и боролся против него. Книга поэтов СУАР вышла в Бишкеке. Её спонсировал богатый уйгурский бизнесмен. Говорят, бизнесмен был убит выстрелом в лоб китайским килером. Может, за книгу, может, за что-то другое, но не сносил головы, а я свою голову пока донашиваю.

Смолоду дружила я и с чудесной поэтессой, красавицей Патигуль Сабитовой. В голодные 90-е годы она то и дело зазывала меня в гости, на уйгурские манты с тыквой и жусаем, а я всё не шла, отговариваясь делами, а на самом деле неловко

было объедать её семью – они скромно жили. Теперь, спустя время, я понимаю её настойчивость: она хотела не только меня подкормить, а ещё и быть рядом со мной последние свои годы. Может, и не осознавала сама этого, может, желание её было подспудным. Она болела, но крепилась – хотела жить, и потому пиршественный стол был для неё символом жизни. Жизни радостной, полной, в кругу друзей. И оттого, что видела она их в последний раз, застолье было, наверно, особенно ярким.

И вот, наконец, я собралась. Муж Патигуль, Рабик Изимович, щедро угощал меня за дастарханом, и сам с удовольствием поглощал разносолы, приготовленные женой. При этом занимал нас разными рассказами. Патигуль всё больше молчала. Глядела на меня чёрными, глубокими глазами, и молчала. Сил на голос у неё уже почти не осталось. Только и рассказала о своём деде, которого накануне видела во сне.

Он жил в Чилике. Муллою был. Мечеть там построил и медресе. Дважды делал хадж в Мекку. Был очень образован, и народ его уважал. Огромную библиотеку собрал. Ученики у него были. В начале тридцатых, когда началась борьба с религией и служителями культа, чекисты муллу расстреляли, и учеников всех расстреляли: поставили в шеренгу и дали очередь из винтовок. Книги жгли три дня. Не могли сжечь – они не горели. Люди Чилика поняли, что книги эти в самом деле святые, и те, что уцелели в огне, закопали.

Двое чекистов, которые учинили эту зверскую расправу, вскоре погибли – друг за другом: один убили, упав с лошади, а другой заболел чем-то и скоропостижно умер. Чиликцы и тут увидели особый знак: прокляло нелюдей Небо! Сын муллы Таип (будущий отец Патигуль) в это время в Алма-Ате был, и так спасся, потому что всю их семью уничтожили, и семьи учеников муллы тоже. Из каждого дома тёк ручеек крови. Ручейки сливались в реку, река неслась по улице. Зрелище было жуткое. Вот и видела Патигуль во сне эту зловещую реку. Будто бы хотела она её переплыть, но тонула, захлёбываясь, теряя берег..

Чтобы переменить грустную тему, Рабик Изимович, человек от природы весёлый, вызвался рассказать одну притчу. Старую притчу – о госте:

«Вот устал как-то такой же муж, как я, от обыденной пищи. Каждый день одно и то же. А самое вкусное жена припрятывает для гостей. Но гостей что-то всё нет и нет. Он и придумал. Вышел к перекрестью дорог. Видит – путник идёт.

– Ага! – воскликнул муж. – Ты-то мне и нужен! Притомился, наверно, с дороги? Пойдём ко мне, я тут рядом живу. Гостем будешь!

Приводит в дом, кричит с порога:

– Эй, жена! У нас гость, очень известный человек! Подавай скорей на стол! Всё самое лучшее давай!

Ну, жена старается, накрывает дастархан. И мясо, и самса, и свежие лепёшки, и салат из клевера, и рулет из требухи, и манты, конечно, с тыквой да жусаем, и плов, и каймак, и разный изюм-мизюм. Все припасы выложила. Потчует гостя хозяин и сам за обе щеки уплетает. Поели.

Гость поблагодарил и собрался уходить, а хозяин говорит:

– Надолго не пропадай! Приходи снова».

Вот и мне то же сказал Рабик Изимович, когда я прощалась:

– Приходи снова! А то Патигуль редко манты с тыквой делает, и салат из клевера, и самсу, а так иногда хочется...

– Но что же ты притчу-то до конца не рассказал? – засмеялась Патигуль. – Ведь хитрый муж время от времени продолжал выходить за порог, к дороге, и заманивать нового гостя в дом, как только замечал, что жена уже изрядно накопила разных лакомств.

– Ну так начинай уже копить! – подхватил Рабик Изимович.

– Скоро много к тебе гостей придёт... – печально улыбнулась Патигуль.

Мы тогда не поняли, на что она намекает. И однажды её не стало...

## Глина на десерт

В те годы пристрастилась я к глине. Обгрызла углы дачного дома, ходили мы с Мирабо и на горную речку, где высились глиняные скалы, и я их тоже обгрызала. Видно, чего-то в моём организме не хватало, а давно известно, что глина обладает целебными свойствами. Вот я, как зверёк, и выискивала природное снадобье. Увижу глину и прямо трясусь от вожделения. Все надо мной смеялись с этой глиной, один только мой корейский друг, писатель и художник Миша Пак, отнёсся к моему глиноедению серьёзно и пригласил к себе в гости:

– Я как раз пристройку в саду сделал – из хорошей глины. Приходи, может, тебе понравится?

Мы с Мирабо отправились к Мише, в его сад в пригородном совхозе «Дружба». В саду в самом деле была пристройка, обмазанная свежей глиной. В этой пристройке Миша сделал себе мастерскую. Внутри неё вдоль стен стояли готовые картины. Одну Миша нам тут же подарил – я как раз сообщила ему, что он прошёл в десятку лучших конкурсантов на премию Букера, вот Миша от радости и отдал мне свою картину. Называлась она «Рыбак». Корейский рыбак находился на дне моря, окружённый причудливыми и очень живописными рыбками, моллюсками, медузами. От губ рыбака исходили пузырьки слов, и слова эти ловили своими маленькими ртами золотые рыбки. Рыбак и сам был похож на большую странную рыбу. Есть у меня и ещё одна работа Миши – графическая: «Париж» (в память о моём муже Игоре Бек-Софиеве).

– Ну что, попробуешь глину? – спросил Миша.

– Попробую!

И я приступила к объеданию глиняной стены. Глина оказалась не только свежей, но и очень вкусной, сладкой даже.

Миша с профессиональным интересом художника и писателя следил за мной, иногда спрашивая:

– Ну, какие ощущения?

И я, как умирающий академик Павлов ученикам, сообщала ему о поведении своего организма. Не знаю, использовал ли Миша мой рассказ в своих книгах, но зрелище для домочадцев Миши было, конечно, комичное. Потом Миша предложил от глиняного деликатеса перейти к другой, более простой пище, которую приготовил сам. Мы вошли в дом. Стол изобиловал пряными корейскими блюдами: лапша-кукси, морская капуста, маринованная алая морковь, проросшая соя, фаршированные баклажаны, капуста кимчи, свежемаринованная рыба хе и многое другое. Это был восхитительный по живописности натюрморт, это был праздник глаз и – желудка!

Знаю о Мише такую историю. Он очень любил свою первую жену. Она родила ему красавицу дочь, но жить с ним не стала – из-за его писательства и живописи: мол, весь дом красками провонял, а писанина твоя не приносит никакого дохода. Неудачник! И Миша хотел прославиться, чтобы доказать жене, что она не права. И добился успехов! Пригласил жену в дорогое кафе, выложил перед ней свои книги, литературные награды, лауреатские звания, вырезки из газет с хвалебными отзывами известных людей.

Но жену это ничуть не впечатлило:

– Никак не уймёшься? Всё бумагу мараешь? Лучше бы помог мне продать арбузы. Мы с мужем из Чимкента машину арбузов привезли.

## ГОЛОД И ЛИТЕРАТУРА

С голодухи мы как-то с замечательным поэтом Женей Курдаковым (с ним у меня романа не было, если что!) сочинили шуточный «научный» труд: «Кулинарная вакханалия» – о влиянии голода на литературу. Скажу сразу, мы с Женей были категорически не согласны с постулатом, что талант должен быть голодным. Постулат придумали сытые чиновники, жалея денег на развитие культуры. И тянется это уже не одно столетие. Талант голодать не хочет, но голод зато, как оказалось, способствует веселью. Вспомните хотя бы известную притчу о Козельске. Город был взят монголами. Монголы обложили Козельск данью, и всякий раз хан спрашивал сборщиков подати, как ведут себя русские.

– Плачут!

– Берите с них ещё!

– Плачут!

– Ещё берите!

– А теперь смеются, о, великий хан!

– Ну, значит, взять с них больше нечего...

Вот и мы смеялись. Что с нас взять?

## Кулинарная вакханалия

«...Когда, пожевав чёрствый сухарь, читаешь серьёзные и даже классические произведения, как-то вдруг обнаруживаешь, что писатель думает о чём угодно, только не о литературе. Например, о еде. Мы так всё время о ней думаем. Откройте наугад Пушкина, и вы непременно наткнётесь – то на кипящие жиром пожарские котлеты под «пунша пламень голубой», то на сообщение, что помещик Троекуров трижды на неделе страдал от ожорства.

«А за ужином опять объелись, – невинно признаётся и великий Гоголь, и поддерживает философские рассуждения Собакевича: «Толкуют: просвещение, просвещение, а это просвещение – фук! Сказал бы и другое слово, да вот только за столом неприлично. У меня так. У меня, когда свинина – всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся!»

– И что же? – спросим мы, глотая слюну. – Тащат?

– Ещё как тащат! «За бараньим боком последовали вагрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом с телёнок, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печёнками и невесть чем, что всё ложилось комом в желудке».

И досточтимый Собакевич всё это съедал, «доехав» напоследок и осетра, размером в длинный стол. Собакевич был настоящим патриотом русской кухни, а вот о французской отзывался так:

– Ты мне эту лягушку хоть сахаром обсыпь, я её есть не стану!

– Ещё как станешь! Голод – не тётка. Вон, китайцы же едят – и с сахаром, и без сахара, и ничего – размножаются.

Но вообще-то, Гоголь бесподобен! Скука в обществе, по мнению его героев объясняется просто: «Мало едите, вот и всё! Попробуйте-ка хорошенько пообедать». Мы бы попробовали, если бы нам дали. Да и сам Гоголь, описывая эти богатырские пиры, угасал от истощения, а поэт Александр Блок так и умер от голода в революционном Петрограде.

Французский писатель Александр Дюма, по воспоминаниям братьев Гонкуров, защищал тезис, что у всех без исключения людей все чувства и впечатления зависят от состояния желудка (видимо, за это Гонкуры и дали ему премию своего имени). В подтверждение Дюма обычно рассказывал об одном из своих друзей, которого как-то привёл к себе обедать в день смерти жены этого человека, кстати, горячо любимой жены. Дюма предложил гостю кусок мяса, но гость, утирая слёзы, вдруг потупился и с нежной мольбой в голосе попросил:

– Дайте, пожалуйста, кусочек пожирнее...

– Что поделаешь, желудок! – ничуть не удивился Дюма. – У него был великолепный желудок: он не мог испытывать сильную скорбь...

Дюма-отец, как известно, был не только ужасно плодовитый писатель, но ещё и тонкий знаток кухни, а также знатный чревоугодник. Когда путешествовал по России, то заехал в гости к поэту и гражданину Николаю Некрасову и съел все запасы его погребов, легко ответив на мучительный вопрос поэта: «Кому на Руси жить хорошо?» Секрет творчества Дюма тоже прост: романист давал задания своим литературным помощникам, сам же спускался на кухню и с упоением сочинял экзотические соусы, которые на помощниках потом и испытывал. Все ли выжили после дегустаций – история умалчивает.

Как-то Дюма решил написать главную книгу своей жизни – «Кулинарную энциклопедию». Для этого, говорят, отправился в Бретань, в провинциальный городок Росков, и делал так: каждый день ходил обедать то к одним, то к другим хранителям старинных рецептов, а люди изощрялись, стараясь угодить имениннику писателю, готовили самые изысканные кушанья. Если Дюма их не вполне запоминал, то повторял визит и затем переписывал рецепты в свою «Кулинарную энциклопедию». Всё гениальное просто! Правда, городок оказался на удивление мал, роскошные дома наш гурман обошёл гораздо быстрее, чем думал, и «Кулинарная энциклопедия» осталась незавершённой.

Если бы кому-то из советских писателей пришло в голову написать нечто подобное, то это была бы, наверное, «Питейная энциклопедия», хотя об одной попытке мы знаем: Веничка Ерофеев сочинил-таки занимательную книгу «Москва-Петушки», где полно разнообразных рецептов спиртных напитков, в том числе «Слеза комсомолки», которую мы лично опробовали и потому смогли приступить к сочинению своего труда, закусывая рассказами Гиляровского о московских трактирах, где какой-нибудь купец мог съесть за обедом двести блинов – с икрой, снатками, яйцом, мясом и прочими начинками, потом потребовать кулебяку, по-

том какой-нибудь жирный супчик с пончиками, потом жареную дичь – и сделать небольшой перерыв перед новым заказом...

Закусив Гиляровским, мы должны признать, что все рецепты спиртных напитков у Ерофеева довольно примитивны – на уровне тормозной жидкости, и на нас не подействовали. Какой писатель – такой и уровень: есть подлинные таланты, а есть литературная «бормотуха». От Ерофеева осталась только отрывочка, а вот от меню Гиляровского – здоровый и радостный взгляд на жизнь, к чему призывал и нарком пищевой промышленности Микоян, который курировал, а может, и сам писал «Кулинарную книгу» для пролетариата. В голодные годы чтение этой книги, несомненно, помогало справиться с желудочными спазмами, тем более что рецепты вкусной и здоровой пищи сопровождались цитатами из Сталина и его соратников по партии. Цитаты пахли красной икрой, сыром сулугуни и дорогими грузинскими винами.

Другие, дружественные нам, исследователи не случайно подметили, что самое поэтическое произведение Эрнеста Хемингуэя – «Праздник, который всегда с тобой» создавалось писателем тоже в сопровождении желудочных спазм: их он переживал в Париже. В книге столько изысканных блюд описано! Мужественный Эрнест голодал, постоянно думал о еде, как и мы, а потом уехал на Кубу, поймал большую рыбу, наконец-то наелся и спокойно застрелился...»

### Праздник живота

Кто бы мог предположить, что с началом нового тысячелетия начнётся «праздник живота»: все ринутся писать «Кулинарные книги», они станут бестселлерами, займут почётные полки в книжных магазинах, на международных книжных ярмарках люди будут толпиться именно около «кулинарных» новинок – духовная пища теперь не особо питательна. Деятели культуры уходят в рестораны. Один поэт открыл в Киеве ресторан «Сало», где читает посетителям свои стихи. Так стихи, видимо, плохо идут, а под сало и горилку их проглатывают, но не все. Одна весёлая хохлушка, послушав его стихи под горячий борщ со шкварками, воскликнула: «Да шоб ты усався на Пасху!» А если ресторатор певец, то песни поёт и за это берёт больше денег. Если хозяин заведения артист театра – читает монологи: «Пить или не пить? Вот в чём вопрос!» В нашем городе, в кафе «Гамбургер», ежегодно устраивается конкурс на лучшие стихи о фастфуде. Судят участников, естественно, по гамбургеровскому счёту, и победителям вручают продуктовые корзины. Согласитесь, это всё-таки лучше, чем латунная медаль или гипсовая статуэтка.

Прекрасная павлодарская поэтесса Ольга Григорьева, которая написала немало поэтических книг, а также интересных статей о семье Марины Цветаевой (сестра Марины, Анастасия Цветаева, осуждённая по 58-й статье, после лагеря жила в Павлодаре), лауреат российской премии им. Марины Цветаевой, сказала с горечью о наших временах в своём стихотворении «Грустные размышления о современной поэзии»:

*«Ушли в коммерцию поэты... / О, не скорбеть я не могу! / Кто занят фирмой, кто газетой, / Кто просто «делает деньгу». / Ушли в политику поэты: / Дебаты, съезды, шум речей, / Воззванья пишем и декреты, / Забыт анапест и хорей... / А третьи – в маги, экстрасенсы, / Вещатели и колдуны. / Но душу врачевать и сердце / Не биополем мы должны (...) / Одна надежда в миг пропащий, / Одной*

*полоски тонкий свет – / Уже родился Настоящий, / И где-то близко он, Поэт! / Когда-то будем прахом, пылью, / Но вечный нам укор и стон: / То, что сказать должны мы были, – / За нас не скажет даже Он...»*

Да, именно так: «То, что сказать должны мы были, за нас не скажет даже Он», самый распрекрасный поэт будущего, и это поддерживает меня в сочинении моих «весёлых мемуаров», потому и не отвлекаюсь на бизнес, политику, «кулинарные книги» и прочую суету сует, и тут я недалёковидна. Говорят, к пятидесятому году XXI века чумой человечества станет снова голод, и в лидерах будет не та страна, где нефть, золото и великие писатели, а где есть еда и вода. Так что запасайтесь «Кулинарными книгами», господа! И постарайтесь хорошенько подкрепиться перед концом света.

## ХВАЛА ДРУЗЬЯМ

### Про Михайлова и не только

Валерий Михайлов – очень весёлый человек. Гоголь – тоже весёлый человек – так объяснял свою тягу к юмору: «Скучно жить на свете, господа...», и от этого веселил сам себя и своего читателя яркой, остроумной прозой. Михайлов тоже блещет остроумием. Он мастер летучего афоризма и пародии. Жаль, что я не записываю за ним, и сам он тоже не записывает, но иногда всё же вспоминает свои остроуты, и тогда получаются книги («Сквознячок» и «Год Козла»). Вот некоторые из его шуток:

*«Объявление: «Пятой колонне требуется шестёрка для временной работы»; оцепятки: «Скверноподанные», «Музей шизобразительных искусств»; одностишия: «Ума палата номер шесть», «Прислуга губернатора – губернантка», «Секундомор»; частушка: «Я спросил Махатму Ганди / О научной пропаганде. / Мне ответил Ганди: – / Только не пропагунди!»*

Шуточки эти, и в большом количестве, Михайлов когда-то сочинял на занятиях в Высшей комсомольской школе в Москве, и потом, когда работал главным редактором газеты «Казахстанская правда», и тем, видимо, спасался от идеологического прессинга, что всегда невыносимо для писателя.

Пётр Вяземский, друг и родственник Пушкина, так говорил об Александре Сергеевиче:

*«Судьба свои дары явить желала в нём, / В счастливом баловне соединив ошибкой / Богатство, знатный род с возвышенным умом, / И простодушие с язвительной улыбкой...»*

Эти слова можно отнести и к Михайлову, только у Михайлова всегда были сложности с богатством и род не знатный, но тоже славный, а вот возвышенный ум и простодушие с язвительной улыбкой судьба подарила ему от души!

Многим, кто плохо его знает, может показаться, что и жизнь его столь же весела, безоблачна и легка, как искромётное остроумие, из-за чего люди немедленно влюбляются в него. Что хорошего в унылом человеке? А вот с весёлым – радостно. Но шутки – отдохновение ума, передышка после напряжённой, тяжёлой работы за письменным столом, и работа эта составляет важную часть его бытия, ради которой он отказался от многого, потому я буду говорить о нём в основном как о писателе, а написал он немало, и какие книги! Например, для серии ЖЗЛ – о Лермонтове, Боратынском и Николае Заболоцком. За каждой строкой этих изданий горы прочи-

таннных книг и документов, многие часы раздумий, проживание в другом времени, когда воображение и талант пересекают охраняемую Хроносом границу веков, куда никому из живых нет доступа. Это воронка, которая так порой затягивает, что трудно бывает выбраться. Произведения Михайлова требуют работы ума, они непросты для чтения, если человек не особо образован и не любит размышлять. И как много дают, если ты готов эти книги понять и со-мыслить с автором, и прогуляться с ним в далёкое прошлое. А ещё ведь сборники великолепных стихов!

### Звонок от Лермонтова

К Лермонтову Валерий Михайлов подступался, пожалуй, много лет, ещё в своих давних стихах – поначалу неосознанно, подспудно, но это был путь к поэту, который торился в разных строках, который в предопределённый свыше миг стал идеей написать книгу о гениальном поэте, так глубоко знавшем русскую Душу и выразившем её в своих стихах. Изучением русской Души и Михайлов занимается всю жизнь – это одна из магистральных тем его творчества. Вот в сборнике «Весть» 1994 года стихотворение «Лермонтов»:

*«Поэты почти ничегошеньки не изменяют... / И даже представится случай  
убить подлеца, / Поэты зачем-то на воздух угрюмо стреляют, / Как будто в  
метафору времени – не поднимая лица...»*

Для Поэта всё вокруг: и небо, и мир людей, и время – поэзия, художественный образ, метафора. Это главная мысль ЖЗЛовских книг Михайлова. О Лермонтове писано много, но книга Михайлова удивила всех: она признана лучшей в России не только литературоведами, но и потомками Лермонтова.

Как-то Валера мне говорит:

– Ты знаешь, а мне вчера звонил Михаил Юрьевич Лермонтов!

«Ну, – думаю, – приехали! Начались у Михайлова глюки от многописания!» Но оказалось, Михаил Юрьевич ему действительно звонил – потомок Лермонтова, полный его тёзка, чтобы поблагодарить за книгу о своём гениальном предке.

Книга эта уникальна тем, что биография поэта прочитана поэтом, автора интересовал Лермонтов именно как поэт, а его бытовая, личная жизнь – лишь объяснение стихов, материал для вдохновения, и это вышло за рамки жэзэловского формата, и это, можно сказать, энциклопедия лермонтовского творчества, куда привлечены цитаты всех исследователей – от современников поэта до нынешних дней. Тут ведь тоже особый талант – не механическое, а умное цитирование: скажи мне, что ты цитируешь, и я скажу, кто ты! Поэт Вильде (Борис Дикой), организатор французского Сопротивления в оккупированном фашистами Париже, который был схвачен и сидел в камере смертников, вспоминая о массе прочитанных им книг, понял, что его истина не в чужих книгах. Там он находил только подтверждение своим мыслям, книги были его собеседниками в споре с самим собой о жизни и литературе. То же самое можно сказать и о Михайлове.

### «Ограда»

Валерий не случайно в своих книгах акцент делает на творчестве, а не на подробностях личной жизни поэтов, которую ведь достоверно всё равно никто не знает, а стихи многое могут рассказать, и тут у Михайлова выработался свой

стиль жизнеописания. Его всегда мало интересовали житейские подробности, в том числе и любовные истории. Он и в «подробности» обычных людей не вникает – люди ему не особо интересны, они отвлекают от внутреннего мира, который стал монастырём. Михайлов – «инок в миру». Общением с людьми он насытился, потому и свои «подробности» не афиширует, прячет ото всех. Так что от меня вы не услышите ни одной «горячей лавстори» Михайлова, хотя в стихи его иногда прорывается секретная информация:

*«Сжигаю память неотступной думой – / Скорей! Дотла!.. а там по ветру прах! / И с твёрдой непреложностью угрюмой / Гляжу туда, где всё чернее мрак. / Ещё вчера по лучику надежды / Я шёл к тебе, не чувствуя земли, / И вот ни зги не видно... Где ж ты? Где ж ты?.. / И вновь один я посреди Земли. / Ты мне была, как свет, необходима, / Как воздух, хлеб и чистая вода... / И душит беспощадно горечь дыма, / И жжёт непоправимая беда. / И вижу, как огнём кидает ветер / В густую ночь... Скорей бы ожогло! / И кровью чую, что летящий пепел / Ещё хранит последнее тепло...»*

*«Как цветенье луга, осень, вьюга, / Ты прошла, жалея и кляня. / Наши души проросли друг в друга. / Господи, освободи меня! / Умасти пустьрь травой забвенья, / Опусти на узы ясный меч, / Дай услышать неземное пенье / И в молитве кровию истечь. / Тленно всё, что может измениться, / Вечно только лишь в Твоём доме. / Дай же мне душой не прилипнуть / Большие ни к кому и ни к чему...»*

Какое надо было пережить потрясение, какую любовную драму, чтобы выдохнуть эту печальную молитву? Так что, как бы поэт ни прятался, а Муза всё равно отворит его плотно сжатые уста.

Михайлов досадует на это, но не может справиться со стихией творчества:  
*«Не осталось тайны ни одной, / Всё, что было, вырвалось наружу. / Как я ни старался – боже мой! – / А не пересилил свою душу. / Вырвалась на волюшку душа, / Растворилась в воздухе и свете. / Нету за душою ни гроша, / Только птицы, облака и ветер...»*

Однако он продолжает сопротивляться произволу Музы, которая, как все женщины, не умеет хранить тайны. К тому же, учёные установили, что нормальный человеческий организм вообще отторгает творческий процесс как нечто противоестественное. Жена Куприна, чтобы заставить мужа писать, запирала его в комнате, и только когда он просовывал под дверь готовую рукопись, отпускала его. Кого-то из писателей привязывали к стулу, чтобы писал. Организм моего друга тоже нормальный, и потому от Музы бежит, но она легко его догоняет.

*«...И вот вошла. Откинув покрывало, / Внимательно взглянула на меня. / Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала / Страницы Ада?» Отвечает: «Я».*

У гордой, как невские граниты, Ахматовой, о которой сын говорил: «Мама опять королевится!», были тоже сложные отношения с Музой, и Анна Андреевна зорко следила за передвижениями своей «крылатой подружки», чтобы и ей Муза не продиктовала «страницы Ада».

Всякий раз, как упрямая Муза принуждает Михайлова к новой книге, он сильно томится и ждёт-не дожждётся, когда кончит писать, сдаст рукопись в издательство и выйдет на свободу с чистой совестью. Теперь уж ведёт себя осмотнительнее – строит «ограду», за которой прячется, но и туда проникает хитрая Муза, делая тайный подкоп. Одна из поэтических книг Михайлова так и называется – «Ограда». Ограждает он себя магической «оградой», ограждает! И происходит это,

если говорить уже серьёзно, от природного целомудрия, от слишком ранимой души. С первых же его сборников начала строиться эта «ограда», например, в стихотворении «Сено»:

*«От вашего взгляду не скроешься, / От всех ваших тошных речей. / В колючее сено зароешься, / Останешься с сеном ничей (...) / Как мальчик, свернувшись калачиком, / Замёрзший, я буду лежать... / Быть может, тебе предназначено / От смерти меня отдышать...»*

Он закрытый человек, он крепость с настороженными бойницами, потому, может, столь близки ему скрытный человек Боратынский – о нём почти нет биографических документов и стихи молчат, и такой же Заболоцкий, о котором сам Михайлов пишет так: Заболоцкий «ни в быту, ни в стихах не любил говорить о личном». А всё же так много «о личном» сказал в своих книгах. И читая «михайловских» Боратынского, Заболоцкого, Лермонтова, то и дело видишь самого Михайлова, и много нового «о личном» узнаёшь не только о великих русских поэтах XIX и XX веков, но и об их биографе из века XXI-го: из бойниц его «крепости» вырывается яркий свет – и это свет любви, той любви, которая делает тебя только что омытым, безгрешным младенцем, когда «сердце прошло сквозь тенёта и сети» порочного мира:

*«Сердцами зелёными листьев сирени / Я буду прощён и, быть может, утешен. / Клянусь их пресветлыми лёгкими тенями, / Что я, как младенец омытый, безгрешен. / Клянусь их цветами пречистыми белыми, / Что сердце прошло сквозь тенёта и сети, / Что нет ничего за дорогами смелыми, / А только любовь, растворённая в свете...»*

У меня другая природа. Мне, напротив, интересны именно «подробности» личной жизни – я люблю людей и не готова пока к духовному затворничеству. «Подробности» интересны, конечно, не с обывательской точки зрения, не подглядывание в замочную скважину (хотя очень тянет!), а как штрихи к портрету, ведь штрихи эти, особенно в проявлениях любви, порою о человеке говорят больше, чем всё остальное. Любовь же совершенно загадочное, космическое чувство, посланное нам свыше – это отсвет Бога в нас. И во всех Священных писаниях всех религий сказано: Бог – это Любовь. Не плотская, конечно, а любовь Души, которая преображает и самого человека, и всё вокруг. «А душу твою люблю...», – писал Пушкин жене. Только любовь высекает искру Поэзии. Михайлов это знает – он написал об этом в воспоминаниях о поэтессе Тамаре Мадзигон:

*«...Поэтический дар, говорим мы, от Божьей искры. А Бог – любовь. Всё сходится в литературе, мистическое и земное: Бог – Слово – любовь – поэзия».*

Да и вообще, разве писатель может обходиться без «подробностей личной жизни», тем более в прозе? Хотя на поэта, несомненно, в первую очередь, надо смотреть через его стихи, где главное не детали бытия, а – музыка, созвучие с небесными сферами. Стихи всё скажут о поэте, все тайны откроют, там вся его духовная биография, на что и Шекспир указывал: «На мастера смотри сквозь мастерство». Думаю, переводчик не совсем точен, и звучать должно: «На творца смотри сквозь творчество». Бытие поэта-человека и поэта-творца часто совпадают, и тот, кто пытается их сравнивать, ступает на ложный путь. Тут я ни с Михайловым, ни с Шекспиром спорить не буду. И ещё Шекспир сказал, что жить человек начинает только тогда, когда начинает любить. О чём бы и о ком бы ни писал поэт (да и прозаик тоже), кого бы он ни цитировал, он пишет о себе,

и он пишет о любви. Слово для него – это исповедь, это чистилище и выход к небесным истинам, главная из которых – Любовь. Он изучает, он изображает себя как частицу Любви-Бога – на фоне огромного мира, внутри бесконечного, замкнутого Времени, если Время, конечно, существует, если это не придуманное людьми понятие, философская фигура.

### Любовь-отторжение

Валерий Михайлов первым написал о голодоморе в Казахстане – «Хроника великого джута». Хроника его считается уникальным историческим свидетельством, переведена на казахский, немецкий, английский, китайский языки, выдержала несколько изданий, изучается в школах, по ней снят документальный фильм.

Один из министров культуры Казахстана как-то сказал о «Джуте» Михайлова:

– Вы поставили памятник себе этой книгой! Такую книгу должны были написать мы, казахи, но побоялись, а вы это сделали, и это смелая, правдивая книга. Спасибо вам!

Много лет Валерий Михайлов возглавлял журнал «Простор», и настолько поднял его планку, что наш казахстанский журнал смог конкурировать с лучшими изданиями. И много что ещё можно сказать о Михайлове со словом «лучший». Есть в нём, наверно, и что-то «худшее», но не хочется об этом говорить, тем более что глава называется «Хвала друзьям». Буду хвалить – и его, и других моих друзей. «Друзей моих небесные черты...», – так писала Белла Ахмадулина, и это правда. Я, как полюбила Валеру с первой встречи в «Просторе», так и люблю по сию пору – и творчество, и его самого, ставшего моим родственником (мы крестили дочь Любы Шашковой Ольгу и теперь кумовья), хоть иногда и сержусь на его злоязычие: «Его язвительные речи вливали в душу холодный яд...», но я-то знаю: на самом деле он добрый, нежный и сердечный человек, да не хочет этого показывать – колючки выставляет, в «стог» зарывается, «ограду» строит, и не терпит проникновения за эту «ограду». Когда я нарушаю очерченные им границы – он закрывает ворота свой «крепости»: наступает период охлаждения. И вот что ещё: Валера энциклопедически образованный человек, блестяще мыслящий, а я не всегда выдерживаю, как равный ему собеседник, и тогда отхожу в тень.

Найти друга в поколенья, созвучного тебе, равного, о чём писал Боратынский, мечта каждого поэта, и не всегда она сбывается. «Я друга в поколенья не нашёл...», – с горечью признавался Юрий Кузнецов, выдающийся русский поэт XX века, о котором Михайлов написал сначала статью: «Ты шла за мной по краю бытия...», а потом блестящее эссе «Крестный путь Юрия Кузнецова». «Ты – царь, живи один!», – сам себе советовал Пушкин, окружённый большой семьёй и блистательными друзьями, но чувствуя своё одиночество. И Лермонтов писал: «Один меж небом и землёй» – Михайлов так назвал книгу о нём. «Я белый ворон, я одиноко!», – кричал в пустоту вечности Велемир Хлебников, казалось бы, вполне самодостаточный человек, создавший собственный мир, которому Михайлов посвятил удивительное по краскам и страсти стихотворение «Хлебников» (Краски и страсти редки в стихах Михайлова – там небесный покой и звучание Вечности). «Быть до конца так страшно одиноко, / Как буду одиноко в своём гробу...», – пророчил Фёдор Тютчев, счастливый и в карьере, и в любви.

Одиночество – удел каждого творца. Одиночество и стремление к абсолютной свободе от любых оков и житейских обязательств, когда отчёт даётся только Богу, о чём Михайлов и писал в стихотворении «Хлебников»:

*«Земного Шара нищий Председатель, / И волн хвалыньских трепетный вниматель, / Священник пылкий полевых цветов, / Птиц собеседник, облаков избранник, / Небесной воли бескорыстный странник, / Земных не знавший никаких оков...»*

Никто не может ступить за «ограду» Михайлова, где он строит Небесный Дом, однако, как всё запретное и неуловимое, Михайлов притягивает, точно магнит, он растворяет в себе, а сам растворяться не хочет (и не может!). Его чудодейственный «раствор» – литература. С Михайловым всегда – «любовь-отторжение», всегда ходишь по лезвию ножа: один неверный шаг – и уже убит. Кто-то убит навсегда – для него. Убит и осмеян. Так беспощадно осмеивал Пушкин своих поверженных кумиров, по-детски обижаясь, что они обманули его прежние восторги.

С Михайловым нельзя говорить о «быте» или о любовных интрижках, даже по-родственному: он тут же начинает морщиться, скучать и быстро закругляет беседу. Только литература и всё, что вокруг литературы, ему интересно, правда, иногда ещё весёлые каламбуры и житейские анекдоты – они разряжают скуку и однообразие бытия, ведь чем сильнее жизнь наша близится к закату, тем меньше событий и новых чувств, всё больше утрат и печали. Да и, по правде говоря, умному человеку вообще всегда скучно. Это дураку весело, и в том его счастье, и Бог не зря его оберегает, ибо дурак – вечное дитя.

Я знакома с Валерой сорок лет, а не осмелюсь утверждать, что знаю его до конца, хотя... Пожалуй, никакого человека нельзя постигнуть до конца, в том числе и себя: мы всю жизнь себя изучаем, а всё поражаемся тем или иным своим поступкам и желаниям. Вот и Михайлов. Как талантливый человек, осознающий свою уникальность и склонный к самопознанию, он особенно сложен:

*«Я сложен. Из чего я сложен? / Из ненависти и доброты. / Я сам собою весь исхожен – / До слепоты, до тошноты. / И всё ж пишу я отраженья / Лица ночного своего, / Ловлю я каждое движенье / Души и тела. Для чего?... / Смотрю в себя так зло, нещадно, / Готовый сам себя казнить, / И всё отдам – не надо счастья! – / Лишь бы самим собою быть!..»*

Он для меня неопознанный, летающий сам по себе объект – созерцатель, «своей судьбы праздный соглядатай», не от мира сего, а от какого-то другого, таинственного мира, и потому пишу о нём с осторожностью (без утверждений!). Л. Енисеева-Варшавская в своих воспоминаниях о Ю. Домбровском так же осторожно начала: «Но оказалось, что писать о близких – дело гиблое. Как будто всё яснее ясного, и в то же время – тайна тайн...»

Внешне Михайлов сдержан, никогда не выходит из берегов, не эпатирует публику, не чудит, как иные поэты, и какие бури бушуют в его Душе, неведомо, но ведь бушуют, иначе бы он не писал стихов об «океанской мощи» любви и не признавался бы: «Я уже бескрайнее пою».

*«...И чем дальше, тем больше любви: / Сердце всё раскрывается слепо / Непомерному чуду земли, / А, быть может, и неба, и неба. / Так, наверное, чуёт строка, / Пробуждаясь, стихов приближенье. / Так, наверное, чуёт река, / Разливаясь, морей надвиженье. / Не пойму, то ли день, то ли ночь, / И не вижу, не чую причала. / Неужель океанская мощь / Это только начало, начало?..»*

## «Моя Родина – русское Слово!»

Валерий Михайлов родился в Казахстане, в Караганде, но он только географически казахстанец, Душой же так и остался на родине предков – в России. И закрытость его, «ограда», отчасти объясняется ещё и этим: не пророс корнями в казахской почве, хотя много сделал для казахской культуры. Мой муж, Игорь Бек-Софиев – из эмигрантов, и он рассказывал, что русские в Париже тоже всегда держались особняком, жили своим, русским миром – за «оградой», сохраняя язык и культуру, не желая растворяться во французах. И хотя восхищались Францией, но корнями не прорастали. Валерий Михайлов точно сформулировал своё духовное местожительство: *«Моя родина – русское Слово, / Моя родина – русский язык!»* Родину русского Слова, русского языка Михайловы несли с собой всюду, куда бы ни забрасывала их судьба, как и все русские, рассеянные по свету.

И всё же! Абай, когда перевёл Пушкина, Лермонтова, Крылова, сказал: «Мой Восток стал Западом», а Валерий Михайлов, родившись в Казахстане, издав тут книги, став заслуженным деятелем этой страны, мог бы сказать: «Мой Запад – стал Востоком». Его русские стихи пронизаны запахом степной полыни и прокалены жарким солнцем казахстанских пустынь, по которым бродил он в своей геологической юности, пока не выбрел к Поэзии.

\* \* \*

Мои предки в Казахстан пришли по доброй воле – казаки (несколько веков назад), чтобы охранять Степь от набегов соседей; курские крестьяне – осваивать новые земли по Указу Столыпина (к тому времени казахские ханства добровольно вошли в состав России, и моя курская бабушка Пелагея до конца жизни – до 60-х годов XX века – считала, что живёт в Сибири). Куряне, безземельные, работавшие на барина в России, здесь обрели свободу и свои наделы пашни, как и казаки – они стали привилегированным сословием, разбогатели, потому нет у них обиды на судьбу. Правда, потом, при Советах, всё отобрали, но это уже другая история.

Михайловы же изначально попали в Казахстан принудительно, как все депортированные и перемещённые народы – без вины виноватые преступники, потому у них иной счёт ко всему. Во время коллективизации предков Михайлова раскулачили и сослали из глубинной России, из Саратовских да Белгородских деревень, в Караганду, где пришлось работать в шахтах, рубить уголь, задыхаясь от угольной пыли, падая от голода. Возможно, кто-то из родственников Михайлова встречался там с моей пятнадцатилетней мамой, призванной во время войны из Баянаула тоже в карагандинские шахты, где многие умирали или становились калеками. Немало подростков там работало, немало детских могил в карагандинской Степи. О спецпереселенцах Михайлов написал в своей новой книге «Тополиная ветка, или восвояси», о которой я ещё скажу.

## «Литун»

Пригнали маму в Караганду, вместе с другими аульными девчонками – некоторые даже её моложе: 13–14 лет – чуть ли не под конвоем – на учёбу в ФЗО. А какое тогда было фабрично-заводское обучение? Сразу под землю, а если и на поверхности, так брёвна таскать либо другие тяжести. Ботинки им выдали

брезентовые, на деревянных подошвах, они не гнутся, тяжёлые. Еды нет. Ходили на базар: то арбуз стащут, то горсть семечек выпросят. Мужикам взрослым, шахтёрам, их жалко.

Вот они и говорят:

– Чё вы здесь мучаетесь, пропадаете? Бегите!

Они и побежали: мама моя, Леденёва Галка да ещё одна малолетка – Ольга Черкашина, мамина двоюродная сестра. Вышли на дорогу – казах на быках едет. Аульные казахи на базар продавать ездили. Мама, как самая бойкая, к нему – она казахский-то знает, как свой родной, и по-казахски говорит вознице:

– Куда едете, ата?

– В Баян! А вы чьи будете?

– Бутаковых.

– А-а, Пашкиным баласы?

Взял их с собой. Деда нашего, Павла Андреевича Бутакова, казахи уважали – добрый, да к тому ж родня им: одна из племянниц деда вышла замуж в казахскую семью, и старшая дочь его, Катерина, была замужем за казахом Бляловым (он потом тоже в шахте погиб, совсем молодым), и соседям Кудабековым он курдас: спас их от смерти во время голодомора 30-х годов. Семья деда выживала за счёт огорода, да в лесу собирали грибы-ягоды, разные съедобные травы, а казахи ведь траву не едят, скот же конфисковали у всех, и перелётных птиц перестреляли да поели, и собак, и кошек, и кое-где уже охотились на людей. Кудабековы лежали на кошме, умирали. А дед на мельнице работал, и стал тайком выносить оттуда муку-порушку. Себе ни мучинки не взял, а Кудабековым приносил. Они делали болтушку и лепёшки – так и выжили. Деда могли запросто расстрелять за эту муку, он и так то и дело сидел в каталажке как бывший кулак – мельница прежде принадлежала Бутаковым. Отобрали! Отобратить-то отобрали, а работать на ней никто не умеет – некому работать, вот деда подержат-подержат в застенках, да и отпустят.

Возница как раз был в родстве с Кудабековыми, а Кудабековы наказали, чтобы все в их роду почитали Бутаковых. И когда мой брат Анатолий Руссу однажды приехал в Баянаул, уже в 2000-е годы, и его узнала внучка Кудабековых, то упала перед ним на колени с благодарностью, что наш дед спас её семью от голодной смерти. В фамилии «Кудабеков» – Бог: Куда, Кудай по-казахски «Бог». И сердобольный возница, и мой дед, и деды Валерия Михайлова жили по божеским законам, а не по звериным «века-волкодава», потому и устояли в неравной схватке с ним.

Возница взял девчонок в свою повозку. Они сознались, что сбежали из ФЗО. Старик велел им лежать тихо, а сам накрыл их соломой и дерюгой. Он, конечно, сильно рисковал. Посты кругом. Война. Спрашивают старика: «Что везёшь?» Он невозмутимо отвечает: «Раненых везу!» Верили и пропускали. Тогда много раненых везли в Павлодар – там госпиталь был. Ехать не близко, так старик в дороге подкармливал оголодавших девчонок. Благополучно добрались до Баяна, разбежались по домам. У Галки Леденёвой отец в КГБ работал, сексотом. Подпаивал станичных казаков, подбивал на крамольные разговоры и выдавал потом, и многих в Баяне – ещё до войны – посадил. Дочь его Галку, как повзрослела, замуж никто не брал – так ненавидели Леденёвых, клеймо на них было.

Дочь свою он не выдал, а маму и Ольгу Черкашину арестовали. Пришли за ними ночью, забрали и посадили. Ещё одну девчонку баянскую, Таню Пузырину, которая после них из Караганды бежала, тоже поймали и дали ей 7 лет.

Ольга Черкашина была напугана, плакала, а мама горластая – давай возмущаться:

– Если нас посадили, сажайте и Галку Леденёву! Она с нами вместе бежала!

Леденёву пришлось улаживать это дело. Отпустили их, но взяли подписку, что девочки будут сотрудничать с органами. Маме дали кличку «Литун» – от имени её Лина. В Баян в то время прибыли молоденькие медсёстры, после окончания медкурсов. Мама должна была следить за ними, не делают ли они подпольные аборты. А мама и понятия не имела, что такое «аборт». Доносить ей не хотелось, и она спряталась в лесу, жила в шалаше. Сидела там до холодов, а с первыми морозами вернулась домой, стала помогать отцу на мельнице, тут её и призвали снова в органы, и призывали часто, но она всякий раз говорила, что ничего не видела. Долго так продолжаться, конечно, не могло, и родители решили, что лучше маме уехать в Майкаин, к старшей сестре Калисии. И она уехала, и до конца войны работала в механическом цехе нормировщицей, куда потом призвали в ФЗО и её младшую сестру Тасю, которой едва исполнилось 13: даже собраться не дали – спешно посадили в грузовик и под конвоем повезли на работы в Майкаин, где она вкалывала на шарошке, на рудной фабрике – размалывала руду, а после смены фэзэушниц гоняли на лыжах и учили стрелять: шёл военный 1943-й год. В Майкаине, где добывали золото, люди тоже погибали от истощения, болезней или под завалами, как и в карагандинских шахтах. Калисия была приставлена к похоронной команде. Жена репрессированного, она так отбывала повинность: её мужа, Бориса Топоркова, расстреляли в 1937-м, а по другой версии, посадили на баржу вместе с другими узниками и повезли на Север, во льды, но баржа потонула, потому что и не должна была никуда приплыть. В единственном гробу, на телеге, возила Калисия умерших в степь, где укладывала в братскую могилу, присыпала известью, и снова с этим гробом ехала за новым покойником. Так по несколько раз в день. Особенно много гибло спецпереселенцев. И всё же в Майкаине было не так ужасно, как в Караганде.

Караганда строилась советскими рабами. Она поднялась на костях бесчисленных братских могил, где лежат тысячи безвинно погибших людей, каждый из которых – святой. Так же строился когда-то Петром I и Санкт-Петербург – среди дикой земли, среди непроходимых болот – «назло надменному соседу». Блистательная столица Российской империи тоже стоит на костях рабов. Так строились египетские пирамиды. Они – памятники вечности, предназначенные для погребения фараонов, они – каменные треугольники, улавливающие энергию Космоса – встали на спинах рабов. Ничто не ново под луной. Попирание костей продолжается: главные парады Москвы принимаются с мавзолея Ленина, то есть с его надгробия. Это ли не символ безумного человечества?

Карагандинская поэтесса, православный человек, которая воспитала четверых своих детей и десять приёмных, Людмила Лунина (Каплан) написала книгу «Мадонна Карлага», в которой рассказывает о трагической судьбе узников Карлага, в том числе и о судьбе своей семьи:

*«...Я родилась и раннее детство провела в Вильнюсе – литовском Иерусалиме», где жили несколько поколений родных отца, и где почти все они погибли в немецком гетто (...) В 1944 году бабушку осудили по 58-й статье и отправили в Карлаг. Отец, инженер-строитель, попросил направление на работу в Караганду, на ГРЭС, чтобы быть поближе к матери.*

*...Это «волк-волкодав» задавил её хрупкую плоть. / Опустили в промёрзлую землю иссохшее тело. / Дай ей мир и любовь у себя, милосердный Господь, / Ведь любила она, и страдала она, и терпела...»*

*«...Степь в тюльпанах и птичьем гаме. / Кровью красит восток заря. / И куда ни копни – под ногами / То могилы, то лагеря. / И находят людские кости, / Отбелённые черепа – / Не на кладбище или погосте, / А в степи, где цветёт трава... / Рвавших жилы на пилораме, / В шахтах, город возведших нам, – / Их валили под номерами, / Просто в ямы, как старый хлам. / И стучится в сердца и уши – / Среди дня и полночной зги: / «Боже Правый, спаси их души! / Наши души – обереги!»*

### **«Хоть мир посмотрели...»**

Валерий вспоминал одного из своих дедов – карагандинского страдальца:  
*«Ус крутил да часами молчал. / Колко супясь, газету читал. / И придирчиво радио слушал. / На парадную поступь страны / Говорил лишь одно: – «Брехуны!» / И ворчал про себя: – «Мать их в душу...» / Внук однажды о прошлом спросил – / Всхлипнул глухо в ответ. Слёзы лил. / Да рукою махнул еле-еле. / Нету силы о том вспоминать, / Как загнали в степя помирать... / Молвил только: – «Хоть мир посмотрели...»*

Действительно, посмотрели, но какой мир? Не дай Бог никому!

Отец Валерия, Фёдор Прокофьевич Михайлов, сын опальных спецпереселенцев, не пропал, не распылился «лагерной пылью», а именно такая судьба была ему уготована. От природы талантливый человек – хорошо рисовал, писал стихи, легко, с лёту, выучил казахский язык – он стал известным журналистом, 15 лет был главным редактором газеты «Казахстанская правда». Помню его, когда он возглавлял экзаменационную комиссию у нас в университете, и я защищала у него диплом. Все девчонки на него заглядывались, и я, конечно, тоже. Высокий, видный, имевший особую мужскую притягательность (этим Валерий похож на отца), Фёдор Прокофьевич до конца жизни был предан своей жене Капитолине Ивановне, с которой дружил с юных лет: ему было 18, а ей на год меньше, когда они встретились на киносеансе в карагандинском клубе. Дружба переросла в любовь – единственную на всю жизнь, а прожили они вместе почти полвека. Встречались с 1939 года, но поженились только после Победы, в 1945 году, считая, что грех жениться, быть счастливыми, когда вокруг великая беда и столько вдов. Да и боялся Фёдор Прокофьевич обмануть свою подругу: а вдруг он погибнет на войне и она тоже останется вдовой? Несколько раз пытался попасть на фронт, но его не брали из-за плохого зрения: один глаз совсем не видел, однако Фёдор Прокофьевич не оставлял в покое военкомат и всё ждал, что его вот-вот призовут. Жизнь в тылу была не менее тяжёлой, чем на фронте, и людей гибло много: от недоедания и круглосуточной работы, но мужчины считали своим долгом быть на передовой, под огнём противника. Такой вот праведной чистоты и совестливости было это поколение!

Любовь красавицы-смуглиянки Капы и дерзкого правдоруба и поэта Фёдора расцветала на фоне страшной жизни. Вот как пишет об этом их сын, Валерий Михайлов в новой своей книге «Тополиная ветка, или восвояси (из сорока сороков памяти)» – пронзительном документе Времени, полном сердечной боли и любви.

правдивом романе о спецпереселенцах, обо всех невольниках Карагандинской земли, среди которых были не только простые крестьяне, оторванные от векового земледелия, от исконных русских корней, но и священники, писатели, учёные.

Пишет и о своих родителях:

*«Оба сироты, без матерей, оба мечены позорным клеймом – из «спецпереселенцев». Оба легко могли погибнуть»,* или – разминуться, но судьба свела их сберегла на этой горькой земле – для их великой любви. *«...Караганда хоть и небольшой тогда была, но сильно разбросанная – по спецпосёлкам, шахтам, рудникам, а между этими, обжитыми кое-как местами зияла огромными пространствами безлюдная степь, где зимой задували бураны, а летом, позванивая беспечно, висели над землёй невидимые жаворонки. Чужая – для всех, попавших сюда поневоле – земля, но за десяток лет уже ставшая своей, откуда всё равно некуда бежать, даже если бы и не было комендатур. Никто, нигде и никого не ждал, да и везде в стране незримый конвой – партии, чекистов, милиции, отовсюду зорко бдят за каждым гражданином и не дают ему забыть. Но юность, в каких бы тенётах, видимых или невидимых, ни была – всё одно расцветает и цветёт, и дышит вольно, и живёт на полное дыхание, до предела чувств. Что любви уродства жизни, да и вся история? Любви это нипочём, она вспыхивает где угодно и пылает по своим законам, не замечая ничего, кроме своего пламени, жара и света ...»*

Когда Михайловы поженились и у них родились дети, Капитолина Ивановна посвятила себя семье и мужу, но не считала свой поступок жертвой. Она любила. И любовь её отозвалась в стихах сына – трепетных, нежных и бесконечно печальных. Сам уже не молодой человек, он с детской сиротливостью тоскует по матери.

Вот строки из его книги:

*«...Я никогда не хотел ни говорить, ни даже думать о том, что мама умрёт – и всегда обрывал её, когда она, чаще шутливым тоном, но иногда и серьёзно, заговаривала об этом. И вот, случилось...»*

*«Я странную услышал пустоту, / Как будто полую изнанку жизни... / И мира суету и чужету / Отшелушило враз по светлой тризне. / Нет в этом свете больше никого, / С кем можно было бы словечко молвить, / И всклень его пустое торжество / Я должен немотой своей заполнить. / И вот тянусь молитвой до небес, / Надеждою, с тобой неразлучимой, / Где голос твой с душой навек исчез, / Лишь только мной отсюда различимый...»*

Отец так и не смирился с её уходом. Через два года его не стало.

Образ Фёдора Прокофьевича наиболее ярок в книге – в нём избыток творческих сил, огню этому было тесно в карагандинской клетке. Он был масштабной личностью, с сильным характером, живучий: когда погибал – а это случалось несколько раз – то люди удивлялись, что он уцелел. Это образ истинно русского человека, русской Души, которая становится только сильнее от жестоких испытаний. Жить с таким человеком трудно, но очень интересно.

Валерий помогал родителям до последней минуты их жизни, даже бросил престижную работу в столице, вернулся в Алма-Ату, чтобы рядом быть, и племянников помогал поднимать. Семья для него – святое. Он оберегает её от чужого глаза и любой тени. Он тоже огородил её прочной «оградой», и ни одной сорин-

ки не выносит из своей «избы», ещё и поэтому нелегко далась ему «Тополиная ветка».

Фёдор Михайлов не состоялся как большой поэт, хоть писал неплохие стихи, их даже печатали в периодике, и Фёдор мечтал стать знаменитым. Мечта его воплотится в сыне: в нём, ещё малом ребёнке, отец разглядел отблеск творческого дара и предрекал сыну большое будущее, и всё сбылось, и не могло не сбыться: талант – это ведь сгусток самого лучшего, что накоплено родом и народом. Многие поколения собирали в Душе Валерия писательский талант, и Душа его, как увеличительное стекло, поймало солнечный луч их любви и страданий, и Глагол его стал тем огнём, что жжёт сердца людей.

### «Мировая Книга XX века»

Валерий долго сомневался, стоит ли «Тополиную ветку» писать, и уж тем более показывать широкой публике, ведь в его мемуарной книге письма и сокровенные дневники родных. Они не предназначались для посторонних глаз. Нравственные переживания вступили в конфликт с правдой жизни, которая требовала выхода, да и творческий дар подвигал к откровенности, что для Михайлова всегда мучительно. Но ведь родные люди не только его личная семья, а ещё и свидетели Времени, исповеди их – документы трагической эпохи. Кто, если не он, должен был рассказать о них? Ведь Господь передал именно ему писательское перо. Каждое слово таких – личных! – воспоминаний и свидетельств, *«сорок сороков памяти»*, вплетаются в канву огромной «Мировой Книги XX века» и делают эту «Мировую Книгу» более полной и правдивой. Её должны прочитать все! Ведь и «Хронику великого джута», которая несколько раз уже переиздана, переведена на другие языки, Валерий Михайлов писал с привлечением подобных семейных преданий, свидетельств и воспоминаний людей; «Блокадная книга» Даниила Гранина в основном состоит из рассказов блокадников; Солженицын для своего романа «Архипелаг ГУЛАГ» тоже собирал воспоминания очевидцев, сидельцев сталинских лагерей – люди сами присылали ему свои горькие истории. И это всё страницы «Мировой Книги XX века». Говорят: трагедия одного человека – трагедия, а трагедия тысяч и миллионов – это статистика. Лукавая и безликая, она неоднократно искажалась, как и страницы истории, переписанные много раз – в угоду сиюминутной политической доктрине. Но ведь каждая цифра и строка в сухих документах истории и статистики – это человеческая судьба. А вот свидетельства людей, калейдоскоп их биографий – это и есть истинная правда о времени. У этой истории есть лицо, есть душа. И писатель показывает это.

Юрий Домбровский так говорил о своей книге «Факультет ненужных вещей»:

*«Тут всё очень просто – не написать я её не мог. Мне была дана жизнью неповторимая возможность – я стал одним из сейчас не больно частых свидетелей величайшей трагедии нашей христианской эры. Как же я мог отойти в сторону и скрыть то, что видел, что знаю, то, что передумал? Идёт суд. Я обязан выступить на нём. А об ответственности, будьте уверены, я давно предупреждён».*

Пушкин собирал документальный материал по пугачёвскому восстанию, ездил по местам его военных передвижений, даже к нам в Уральск заглянул, но

«Капитанскую дочку» написал, опираясь не на документы, а на память народа, отдельных людей из народа, которые успели художественно осмыслить дела давно минувших лет, и в этой поэтической памяти дана неподкупная оценка всем участникам народной трагедии.

О Пугачевском восстании, о блокаде Ленинграда и о ГУЛАГе написано много, а вот о спецпереселенцах мы пока что знаем маловато: литература ещё не развернула в полной мере эту тему, и Валерий Михайлов один из первопроходцев как был он среди первых, написав о казахском голодоморе «Хронику великого джута». Многие осваивали новые земли, но в памяти поколений оставались первопроходцы.

### От жаворонка – до караторгая

Моя подруга и кума Люба Шашкова – это непредсказуемый океан. То на нём штиль и тишина, то вдруг обрушится шторм, девятый вал, буря, гром и молнии, а потом – снова тишь да гладь, будто и не было ничего – солнечные зайчики играют. Натура её противоречива: она агрессор, но в то же время – тонкий дипломат и умеет разрешать самые трудные конфликты. Думаю, тут всё дело в звёздах: Люба родилась под созвездием ядовитого Скорпиона, но в год кротких Кота и Кролика. Имя её – Любовь – стало судьбой: все, кого полюбит её Душа, становятся родственниками Любы, вот и нас с Михайловым породнила, и два её мужа – бывший и нынешний – дружат, как родные, и Казахстан с Беларусью повела одним свивальником родственной любви и литературной переключки, и всегда полно народа на её застольях, в её хлебосольном доме, и каждый, кто зашёл, стал членом семьи.

\* \* \*

Люба – из Беларуси, из деревни Василёвка, окружённой грибными лесами и полями синих васильков. В войну там стояли немцы. Мать, девчонкой, была связной у партизан: ей в косички вплетали секретные донесения. Если её оставляли вражеские посты и спрашивали:

– Откуда бежишь? – отвечала:

– С поля!

– Куда бежишь?

– В поле!

И ни разу её не поймали. Отец Любы чуть не погиб в фашистском концлагере Дахау. Страшное было время! Люба написала много стихов об этом, и особенно хороши её «Жаворонки». Родню Любы звали в Василёвке Жаворонками – за песни. И многие стихи Любы – как песни, как фольклорные сказания или «девичьи потешки»:

*«Бабье лето до Федоры, / А там и засидки впору. / Капустинские вечёрки, / Бабьи-девы перетолки».*

Стихи её пахнут сырыми лесами Беларуси, мёдом цветущих лугов, диковинными цветами великих болот, яблоками деревенских садов – щедрых: деревья по осени до земли гнутся. А ещё – в стихах её сострадание к человеку добросердечному, по-христиански кроткому в жизненных испытаниях. Любовь его целительна, любовь исцеляет даже вселенское зло. Люба в стихах своих воссоздала эту

народную Душу, которая сохранилась со времён древней Белой Руси и до наших дней. Поэт любит эту Душу, как в стихотворении «Банька»:

*«Крайняя бабки Маланки изба / Знала, почём и гульба, и пальба... / Хоть и одной  
вышло век доживать, / Что на людей-то пенять?! / Старшего сына сгубила  
война, / Средний – в горячке сгорел от вина, / Младшего сына сгноила тюрьма –  
/ Что ж, виновата сама. / Может быть, если б остался жив сам, / Большие бы  
толку сумел дать сынам, / Да посреди сорок пятой зимы / Путь его – до Колымы  
/ Господи, всё-то не как у людей! / Жил бы да жил бы себе без затей, / Нет же  
– горяч был покойный и крут – / Люди-то зря не сокрут. / Вон он откуда тот  
наговор – / Всё от соседа, что через забор, / Только не ей же соседей винить – /  
Примется баньку топить. / Бочку воды натаскает сперва, / После в предбанник  
сухие дрова, / После же – пару-то что пропадать! – / Выйдет соседей позвать.  
/ Банька – она же не только для тела, / А чтоб душа отошла, разомлела, / Чтоб  
и сосед хоть из бани ушёл / С лёгкой и чистой душой...»*

Судьба мотала семью Жаворонков по свету. Кто в Америку подался, кто на Урал и в Казахстан. Родители Любы и сестра Надежда после скитаний вернулись в Беларусь, а Люба осталась здесь, и мы с кумом шутим, что у неё несколько фронтов: Белорусский, Корейский – по первому мужу Семёну Хану, и Казахский – по нынешнему мужу Марату Крыкбаеву. Этот «фронт» оказался самый прочный и нежный.

*«Ох, как небо надо мною бездонно, / Ох, как степи подо мною безбрежны. /  
Где ты, мой жаворонок чёрный, / Мой Караторгай, мой нежный? / Вглядываюсь  
в небо до боли, / Степи останавливаю взглядом. / Где ты, мой жаворонок  
чёрный, / Мой Караторгай, моя радость? / Мы вдвоём – и небо смеётся. / Степи  
расцветают – мы вместе. / И несём мы на крыльях солнце, / И звенит на два  
голоса песня:*

*– Ой, раным-рано  
Солнце заиграло,  
Выпорхнуло в небо  
Жаворонком алым...»*

Не только любовь приковала её к Степи – здесь похоронена единственная дочь, наша с Валерой крестница Оленька. Недолго она пожила, улетела наша птичка в неведомые края...

...Там лето вечное цветёт, там солнце над травой примятой – там Богородица идёт по следу девочки крылатой. Звенит пчиною струной горячий воздух, свищут птицы. И покрывало за спиной у Богородицы струится...

## Рок

Рок то и дело испытывал Любу, и не только трагическими потерями. Была роковая любовь: любовь-счастье, любовь-наваждение, любовь-беда, которая закружила, опьянила, которая разрушила первый брак и чуть не погубила саму Любу, но надышала в её книги прекрасные стихи, горькие – сердце щемит:

*«А всей моей вины / Перед твоей виной, / Что маковки сосны / Перед самой  
сосной. / Стоит ли ночь темна, / Деревья ль ветер гнёт, / Та маковка видна, /  
И та сосна – растёт...; «Там, где ты – там свет. / Там, где ты – там я. / Ты  
не верь, что нет у тебя – меня. / Среди кутерьмы, среди бед-клевет / Я лечу из*

*тьмы на твой ясный свет. / А исчезнет свет твоего огня – / Значит, больше нет на земле меня...»*

Любовь её продолжалась более десяти лет, а вина перед мужем и дочерью – не кончается, и она снова – в стихах:

*«Всё бы ничего, / Да в душе темно. / Да пьяна виной, / Возвращусь домой, / А там сокол мой. / А там горький свет / Из-под грозных век. / В ноги б кинуться, головой припасть: / – Мой единственный!.. / Нареветься всласть. / Но опять слова: / – А ты где была? ... / А где я была – / Там метель мела. / Всё бы ничего, / Да белым-бело / Снегу намело. / Вот и к дому след / Весь сошёл на нет...»*

Рок разводил нас с Любой – да не развёл. Сестринские обиды, ревность и подлая зависть вставали между нами, а зависть, как изрёк когда-то Анатолий Франк – мать всех пороков. Мы обе «командирши» и «саблями» сверкаем, потому вспыхивают ссоры. Всё одолели, переболели и давно простили друг друга, жаль только, раны не заживают...

Но что-то я всё о грустном, а ведь мемуары мои всё-таки весёлые. Надо вспомнить весёлое! Люба, хоть и хлебнула горя, от природы весёлый человек. Да вот, случай. Ездил она как-то по Пушкинским местам вместе с чудесным художником Альбертом Гурьевым – он тогда работал над циклом графических работ по творчеству Пушкина. Кудрявый профиль Любы то и дело мелькает в его работах, стилизованных под летучее перо Пушкина, под его рисунки на полях рукописей.

Сама же Люба после этой поездки тоже написала цикл – стихотворный, и посвятила его Гурьеву:

*«И будет так! Поэт и Муза, / Или: Художник и Модель. / Сотворчество, а не обуза, / Работа, а не канитель...»*

Была холодная осень, и Люба облачилась в дутую куртку зелёного цвета и такие же дутые сапожки – их в народе называли «луноходы». Летели на маленьком самолёте в Болдино.

*«...В субботу в Болдино пять свадеб! / Стоит октябрь. И с нами, кстати, / Везёт своей невесте платье / Кудрявый болдинский жених... / Нетерпелив, как тот, что славы... / Как тот, который... Боже правый, / Через холерные заставы – / В Москву! Какой уж век и год?...»*

Самолёт, кроме озабоченных пассажиров, вёз ещё «огненную воду», которую с нетерпением ждали в деревне. От тряски Люба позеленела, как и её «дудное» облачение. Выходит из самолёта – народ толпится на лётном поле, и один мужик говорит другому, увидев Любу:

– Глянь-к, инопланетянка! Зелёная! А ты говорил, инопланетян нет.

– Точно, зелёная! А ещё ведь и не пили...

Последние годы Люба, к сожалению, почти не пишет стихов (я и сама теперь мало пишу!), а если и снизойдёт на неё вдохновение, то продиктует строки о покаянии, молитвы о семье, о радости краткого земного бытия. Она нашла свой рай – холмы Тургеня: «В ладонях гор покоится долина – цветущий край на Божий рай похож...» И в раю этом есть у неё бревенчатый Дом, похожий на высокий терем, и два ангела – её внуки, они и помогают ей выжить, не сгореть в страшном горе:

*«На предгорьях в пояс травы, / В воздухе медынь разлита. / Ангел левый, ангел правый – / И Георгий, и Никита. / Держат детские ладоши / Две руки моих открытых. / Мир заведомо хороший, / Где Георгий и Никита. / И конца нет у*

*дороги. / Поспособствуй, Боже правый, / Вот Никита и Георгий. / Сохрани их. И направь их».*

С ними она возвращается в чистое детство, когда душа ещё безгрешна, когда верит в чудеса, в диво-дивное, как верилось на детской заре Человечества. Например, в то, что Земля покоится на трёх китах. И если прокатывается по тургенским холмам и долинам землетрясение, то Люба успокаивает своих внуков – и себя, конечно, – доброй сказкой: *«Что, что там в прорве каменной дрожит? / Что в нас ответным ужасом качнулось? / Чу! Успокойся! Это рыба-кит / Слегка в подземных водах повернулась...»*

Но я вспоминаю времена, когда стихи бурно писались, когда были живы наши близкие, а мы – молоды. Ездили весёлой компанией на оживающее озеро Иссык или в Степь – собирать букеты весенних маков или полюбоваться цветением саксаула, или осенним сиянием горных лесов, или снегами до неба. Пока жарились шашлыки – ими руководил муж Любы, Марат – собирали клубнику, кормили булкой ослика, прискакавшего из горного селения, слушали возвышенные гекзаметры реки, грохочущей по камням: вот-вот, и поймём её речь, переведём на человеческий язык! И это всё счастливые мгновенья жизни, которые врачуют печаль...

## Руфь Тамарина

*«Какими были молодыми – когда же старыми мы стали?»* – вот и мы уже повторяем эти давние строки Руфи Тамариной. Да, мы были молодыми, и как все молодые, любили пиры и пирушки. На застолья собирались довольно большие компании, часто как раз у Руфи Тамариной (моей Руты) и её замечательного мужа Михаила Гавриловича. Мы его звали по-свойски Гаврилыч. Это был очень тёплый человек, несмотря на свою «зимнюю» фамилию Морозов. И Гаврилыч, и Руфь для нас старыми никогда не были и с радостью разделяли наши молодые загулы.

Руфь нельзя было застать врасплох: когда бы ни пришёл, она с причёской, в нарядном платье, с обязательным шейным платочком, чтобы не оскорблять взгляды стареющей шеей, украшенная бусами, браслетами, кольцами. Учила нас, девчонок, женским премудростям: как – всегда, даже в старости – быть привлекательной для мужчин. И для своего мужа, Гаврилыча, она ежедневно оставалась праздником. Написала когда-то свою знаменитую строчку: *«Все мы бабы – актёрки»*, но «актёрство» Руфи проявлялось только внешне, в нарядах, а так-то она была очень естественным человеком, не «театральным», хотя в театре одно время работала, завлитчастью, но даже кокетничать не умела, и уж тем более притворяться, зато был у неё наивысший женский талант – дар любви, и мы были окутаны её любовью, спрятаны от житейских бурь в этой любви, как в тёплом коконе. Нас вокруг неё было много – на всех её сердца хватало. Придёшь к ней – она сразу за стол сажает, кормит.

Накормит – тормошит:

– Ну рассказывай, рассказывай, как у тебя с ним?

И мы выкладывали свои сердечные тайны, а у неё – глаза то горят, то в слезах, смотря какие переживания мы ей доверяли. Тут же влюбится в твоего парня – вместе с тобой, и всегда будет на твоей стороне, даже если парень сто раз прав, а ты не права. Когда сильно страдаешь – обнимет, колечко подарит, твои стихи послушает и свои почитает – всегда волнуясь, будто впервые, будто она всё ещё

студентка Литинститута и судит её знаменитый поэт Илья Сельвинский, а не ты, едва оперившийся пиит. Читает, щёки горят! За эти яркие щёки в юности звали Руфь «девушкой с плаката» – таких краснощёких девушек изображали на советских плакатах, как рекламу здорового и счастливого общества. Когда Руфь читала свои стихи, то снова становилась этой радостной, задорной девушкой, но и девичье смущение проступало в ней, девичья чистота. Этой чистотой и привлекла она когда-то Гаврилыча.

### Гаврилыч

Познакомились они в Степлаге, где сидели по 58-й статье. Гаврилыч работал в рудниках, а это был поистине каторжный труд. Руфь сначала тоже пропадала на тяжёлых работах, но потом была приставлена к библиотеке, и это стало её спасением. Гаврилыч брал читать книги, когда она дважды в неделю приходила в «мужзону». В тёмные летние вечера он сопровождал Руфь в её зону, в посёлок Никольское, и это было весьма кстати, так как в посёлке обитал опасный народ, к тому же весь посёлок был перекопан, и можно было сломать ноги. Гаврилыч поддерживал Руфь под локоток и тащил тяжёлый ящик с картотекой. Больше никаких «инициатив», как говорила Руфь, добровольный её провожатый не предпринимал, что было удивительно: люди в зонах быстро сходились, понимая непредсказуемость лагерной жизни, которая могла оборваться в любой момент. Они ловили любой глоток счастья, они спешили жить! Вероятно, рыцарство Гаврилыча и подкупило нашу молодую Руту. Чем больше она его узнавала, тем смелее сравнивала с благородными героями русской литературы, например, с капитаном Тушиным и Платоном Каратаевым из романа Л. Толстого «Война и мир», которые воплощали в себе лучшие качества русского человека.

В лагерь Гаврилыч попал, как многие бывшие эмигранты, которых в 1945 году вернули на родину. Беженец Гражданской войны с казачьего Дона, он жил в Югославии, где получил высшее образование в Белграде, имел профессию мелиоратора, но на родине, после всех катаклизмов, стал работать диспетчером в строительном управлении. Поженились они с Руфью уже зрелыми людьми, но успели и сына родить, и внуков дожидаться. Гаврилыч жену свою любил беззаветно, и она его тоже, но она поэт, она всё же по временам витала в облаках, тогда Гаврилыч брал на себя хозяйство. Он всё умел: готовить, выпекать вкуснейшее ореховое печенье, шить обувь, плести из медной проволоки украшения для Руфи, делать мебель. И всегда оставался в тени своей знаменитой жены, иронично щурился глаза и покуривая. Мы его обожали!

Руфь иногда рассказывала о своей «лагерной любви». Вспоминала, как серым зимним днём гнали колонну женщин в серых бушлатах и ватных штанах с объекта в лагерь. С пригорка было видно, как наперерез им движется такая же серая «гусеница» мужчин. И вдруг откуда-то ветер донёс звуки рояля – по радио звучал Шопен. И так защемило сердце, так захотелось кого-то, близкого, родного, рядом. Стала Руфь думать о возможном человеке, о мужчине, который так же одинок, как она, не получает с воли ни писем, ни посылок, и как бы она могла согреть его своей нежностью. Хриплое дыхание бегущих женщин под крик охранников: «Быстрее! Быстрее!», холодный ветер, музыка Шопена, предчувствие любви – всё смешалось в её сердце.

И однажды человек из мечты стал явью – Михаил Морозов. Он был участником и жертвой казачьей трагедии 1945 года, когда пленили генерала П. Н. Краснова, когда казачьи семьи кончали самоубийством, потому что англичане сдавали казаков союзникам – на верную смерть: плененных фашистами русских эмигрантов после освобождения тут же отправляли в советские концлагеря. Морозов с четырнадцати лет мечтал попасть на родину – и он попал: сначала в Темниковские лагеря, потом – в Степлаг. Но судьба заплатила ему за все испытания великой любовью, как и Руфи.

Провожались они, провожались – из «мужзоны» в «женскую» – с ящиком картотеки, по буеракам, но дальше дело не шло, да и Руфь ещё не до конца понимала, любит ли она этого человека: она трагически потеряла любимого, расстрелянного чекистами, похоронила маленькую дочь, потеряла родителей и брата, сожжённого фашистами в газовой печи, потеряла свободу и честное имя – потеряла всё.

В цикле стихов «Кенгирская тетрадь» она так пишет об этом:

*«Я провожала с воли в тюрьму, / И из тюрьмы на волю. / И провожала я на войну, / И не встречала боле. / Наверно, судьба мне – опять и опять / Встречать ненадолго – и провожать (...) / И жадно глотая душиный настой / Дней грозových июля, / Я снова живу со своей тоской, / Засевшей в сердце, как пуля...»*

Она всё ещё переживала своё горе, «засевшее в сердце, как пуля». Она боялась поверить в счастье, которое может снова потерять. Душа её не была готова к новой любви, но сердце уже ловило токи хрупкого, как весенний цветок, чувства. Поняла она это, когда однажды узнала, что часть мужчин увозят на этап, и бригадира Морозова тоже. Она метнулась в «мужзону», она нашла его. Он вышел в заношенной телогрейке, небритый, засмутился: «Спешу оформить наряды перед этапом...» Они обнялись, и так стояли под звёздным небом, будто оторвались от земли, полной страданий, и парили среди созвездий – вольные и счастливые.

На этот раз Морозову удалось не уехать с этапом, и он по-другому стал глядеть на Руфь: шутил, угощал сахаром, но снова больше ничего. Неизвестно, сколько бы ещё это продолжалось, если бы на него не положила глаз одна нормировщица – крупная, круглолицая молодая деваха с кирпичным румянцем и повадками хваткой буфетчицы. Тут уж Руфь не стерпела: «Нет, шалишь! Не видать тебе бригадира Морозова!» Когда он в очередной раз пришёл в библиотеку, Руфь усадила его рядом с собой и повела на него атаку. Он только улыбался в ответ и всё повторял: «Допустим!»

*«Я сказала ему, что близка воля, и надо думать о будущем – «Допустим!» – что наверняка есть женщины красивее и умнее меня – «Допустим!» – но я могу гарантировать, что он со мной не соскучится...»*

Теперь уже не просто так ходил Гаврилыч к Руфи, а на свидания: в мороз, с Рудника в Никольское, по 10 километров. Одет он был плохо: в самодельную курточку из портянок, крашенных марганцовкой, в ушанку на «рыбьем меху». Иногда приходил с коричневыми пятнами на щеках от обморожения. Руфь выбегала к нему, но им даже поговорить было негде, негде спрятаться от мороза: бытовки были переполнены. В выходные его отпускали на весь день, а Руфь тогда уже числилась на «облегчённом режиме» и могла снимать в посёлке комнату у недавно выпущенных на волю узниц Степлага, которые дожидались освобождения своих близких, живя и работая в посёлке. Там Руфь и стала встречаться с Гаврилычем:

*«...Я приносила туда кастрюлю с едой, чтобы радоваться, глядя, как ест мой Гаврилыч. Это ни с чем не сравнимое чувство, свойственное всем любящим женщинам – кормить своего мужа, сына, возлюбленного...»*

После освобождения Руфь тоже осталась на поселении, дожидаясь любимого. Его всё же взяли на этап и отправили в Темниковские лагеря. Когда пришёл срок и ему выходить на свободу, он попросил, чтобы его перевели на Балхаш:

– Там у меня жена, единственно близкий мне человек, – говорил он. – Или сажайте меня снова, или переправляйте туда!

И он своего добился: худой, истощённый, больной, он приехал к ней. Руфь вспоминала со смехом, что едва они пришли из ЗАГСа, Гаврилыч тут же рухнул в постель и уснул, и Руфь отмечала свадьбу с подругой, они даже потанцевали с ней под патефон.

\* \* \*

После снятия судимости Руфь могла вернуться в Москву, куда Морозову доступ был закрыт: он ещё не принял советское гражданство. И съездив в столицу, повидав немногих оставшихся в живых друзей и тётку, Руфь вернулась в Казахстан – к своему Гаврилычу. Тётка ругала её, отговаривала, считала душой, ведь тогда многие стремились, вернувшись из лагерей, обосноваться в Москве, а у Руфи были все права, ей даже комнату в московской коммуналке могли вернуть, но она выбрала любовь. Сорок лет прожила она в Казахстане, рядом со своим Гаврилычем, как драгоценность храня документы о реабилитации – себя, мужа и своих родителей. Родители, разлучённые навеки, погибли в разных лагерях как «враги народа», хотя верой и правдой служили народу и красной идеологии.

### **«О, ледяной и жаркий ветер века!..»**

Многие поэтические строфы Руфи я знаю наизусть, но больше всего люблю эти, написанные почти на закате жизни, но такие безмятежные, полные молодого счастья. Они посвящены Михаилу Гавриловичу:

*«Как мне было хорошо в этом доме, / Где спала я на колючей соломе, / На соломе золотой, непрямой. / Пахнул ветер чабрецом, пахнул мятой. / На за- тылок заломив белы руки, / Тосковала по тебе я в разлуке – / По усмешке ироничной и доброй. / Не спалось мне в ту ночь долго-долго. / А как утренник повеял студёный, / Поднялась я молодой, обновлённой. / Я колодезной водою умылась, / Улыбнулась, вспомнив всё, что приснилось. / А приснилась мне разлука и встреча, / Запах мяты, чабреца, этот вечер. / Как тоскою по тебе я томилась... / А всего и не скажу, что приснилось...»*

Одно время в семье Руфи и Гаврилыча жила его мать, донская казачка, которая вернулась на родину только после смерти Сталина и потому избежала лагерей, но всё равно перетерпела страшную жизнь. Как уж ей удалось скрыться от депортации казачьих семей из Югославии в 1945 году, не знаю, но она спаслась, в отличие от сына, который был отправлен в ГУЛАГ. Я помню её: молчаливая, прямая, угрюмая. Никогда не выходила к столу, если там обедала её сноха. Руфь ей не нравилась: странная, стихи бормочет, а главное – еврейка, дочь красного комиссара. Не могла забыть, как местечковые комиссары уничтожали казаков, как горели станицы, как бежала семья Морозовых на чужбину. Не пара Руфь её

сыну! А вот внука Володьку старуха любила. Руфь тяжело переживала неприязнь свекрови, но терпела, не жаловалась мужу – берегла. Любила! А горечь свою изливала только в стихах:

*«...Я в доме у себя – давно не дома. Здесь женщина, усталая от жизни, тоскующая горестно и страстно по жизни той, несбывшейся, что стала её далёким, безнадежным сном. Там ложками едят икру из миски на застеклённой солнечной веранде, она сама – дитя, и двое братьев её, такие же сироты, там тётка-атаманша, что красива, и властна, и добра, и недобра. В том сне цветут сады над Тихим Доном, не осыпаясь, доятся коровы там только сладким жёлтым каймаком... А наяву она с детьми и мужем, полковником, стареющим и грузным, от Родины судьбу свою отторгнув, сбежит в страну чужую, за рубеж. Там, далеко, она беду узнает (...)*

*О, ледяной и жаркий ветер века! Ты скреживаешь жизни, словно шпаги, ты скреживаешь жизни, как деревья, жестокий и уверенный садовник, чтоб сад его верней плодоносил. И ночью долгой, оттого что хмурым и пасмурным был этот день июльский, студёной по-осеннему и долгой, всегда острее ощущаешь время и всех его тревог противоречья, я долгое пишу стихотворенье о жизни долгой, как река большая, что катит волны в море, не спеша...»*

Когда Руфь, захлёбываясь «ледяным и жарким ветром века», прочитала мне эту маленькую, горькую поэму, я была потрясена, и долго находилась под впечатлением, и сама хотела написать нечто подобное, да не смогла так, как она. Сил не хватило! Да и судьба у меня другая.

## Время – через любовь

...И в очередной раз я сомневаюсь, стоит ли мне писать это повествование, и писать вообще: кому нужна моя жизнь? И отвечаю сама себе: моя, может быть, и не нужна, и не особо интересна, но люди, которых я встретила, их биографии – они всё же достойны описания. Начальные годы XXI века – мемуарное время. Прожит огромный, XX век, закончивший первое тысячелетие, и он требует фиксации и осмысления. Глобальные романы, новую «Войну и мир» напишут новые Толстые – лет эдак через пятьдесят, как и сам Лев Николаевич написал через полвека: нужна временная дистанция! Найдутся и новые Карамзины, которые воссоздадут правдивую историю XX века. Мы же пока оставляем торопливые черновики – по горячим следам. Авось да пригодятся – если не великим историографам и творцам, то, может быть, нашим потомкам. Потомки тоже однажды постареют и захотят знать свои корни, историю своего рода и народа, как и мы – в зрелые лета, и особенно на склоне жизни, а в молодости тоже легкомысленно жили, отсчитывая времена от себя и не интересуясь ничем, кроме своих страстей и фейверка новых событий, и – увы! – мало расспрашивали родителей, бабушек-дедушек и других родственников. *«Где мы раньше жили-были, / Кто на свет нас породил? / У живых спросить забыли, / И не спросишь у могил...»*

Руфь Тамарина в мемуарах «Щепкой – в потоке» тоже, как и я, сомневалась в ценности своих воспоминаний, но продолжала их писать:

*«...Всё, что сейчас происходит с нами, с нашей жизнью, не только непредсказуемо, но и быстротечно – настолько, что написанное сегодня завтра выглядит бесконечно вчерашним. Вот и мой рассказ о том, что было со мной и моими*

близкими, мгновенно выцвел, потускнел рядом с опубликованным в трёх номерах «Огонька» «Житием Ефросиньи Керсновской» – талантливые, бесхитростные рисунки, великолепно живой, ироничный и точный текст, наконец, сами муки её и их продолжительность – всё это как-то обесценивает моё повествование. И, понимая это, я всё равно его продолжаю, потому что убеждена – **нужны свидетельства каждого**. Ведь так же, как на войне у каждого была «своя война», так и у лагерников, у каждого «свой лагерь», даже если это был один и тот же лагерь в одно и то же время, потому что люди-то все разные, и судьбы, при всей их схожести, тоже разные...»

Вот и я тороплюсь запечатлеть «свои войну и мир» – те мгновения минувшего, которые прошли через моё сердце, через судьбы моих современников, и ещё свежи в памяти. Конечно, только малую часть я смогу показать: как мы жили-выживали, не теряя весёлости, как любили, какую правду о любви открыли мне люди, как – на краю пропасти – спасала нас любовь, чем дышала наша поэзия. Именно через любовь решила я посмотреть на прожитое время.

В начале 80-х мне встретилась ещё одна женщина – ровесница XX века – похожая судьбой на мою Руту. Так вот она, пересказывая свою долгую жизнь, полную трагических событий, ярко помнила только любовь, только любимых, остальное – смутно, остальное – только фон для череды любовных историй.

Александр Блок в одной из своих записных книжек писал: «Я думал стихами о...» А как же ещё может думать поэт? Вот и я – то и дело – думаю стихами. Теперь – об этой замечательной женщине.

*«...Ей восемь десятков. Она / Свистит воробьям в палисаде, / Но глянет – и вновь зелена / Весна в её девичьем взгляде. / Не помнит разрушенный кров, / Но век её светится ярко / От моря без берегов, / От лета с пунцовой бояркой. / Не помнит тифозный барак, / Пожары над крымским аулом, / Но всё ещё чудится, как / Любима она есаулом, / Как в губы целует, как он / Бросает ей в окна левкои... / Лежит под землёй эскадрон, / Но память жива – и легко ей! / Не помнит гулаговских лет – / Позорных, с запёкшейся кровью, / А только сияющий свет, / Выходивший над новой любовью. / И шли они по облакам, / Ступая босыми ногами, / Не вышка дозора, а храм / Вставал над сухими снегами...»*

## Огненный шар

Память – интересная штука. Я как-то предложила моей сестре Зине сверить наши воспоминания о детстве – и сверка эта нас удивила: ни одного совпадения! У каждого свой взгляд на действительность и своё понимание событий. Память – это не стройное повествование, где есть завязка, кульминация, развязка, как в классическом романе. Это клочки бумаги с торопливыми записями, обрывки диалогов, главы незаконченного сюжета, которые не всегда складываются в единую картину. Иногда годами приходится восстанавливать цепочку событий прожитой жизни, и всё равно какие-то звенья будут утрачены безвозвратно, или поняты неправильно, потом перепоняты, потом снова перепоняты – и так до рокового конца, когда, может быть, и открывается настоящая истина, и объясняются все твои поступки, и выстраивается их причинно-следственная связь, и вся жизнь вспыхивает мгновенным и ярким высверком, круглым огненным шаром.

## Старков на фоне «Простора»

Часто собирались у Старковых. Жена Виталия Васильевича, Майя Ефимовна, жила когда-то в одном дворе с семьёй эпатажного Владимира Жириновского, он и тогда, мальчишкой, вспоминала она, был шепутным. Отец их бросил, мать влюбилась в молоденького парня, лет на двадцать моложе, и новый папаша стал жить в тесной квартирке Жириновских, на нищенскую зарплату своей взрослой жены. Она его выучила и отпустила на все четыре стороны.

Жириновский, конечно, достопримечательность Алма-Аты, скандальная, но достопримечательность. У нас он персона нон-грата – из-за своих провокационных заявлений. С малолетства, страдая от нищеты, вечно рваных башмаков и заштопанных штанов, мечтал он стать большим человеком, добиться власти. И добился! Он лидер партии ЛДПР, заметная фигура в российском правительстве. Шесть раз баллотировался в президенты России. Каждый раз обещал разное: то всем мужикам по бутылке водки, а холостым бабам – по мужу, то грозился немедленно расстрелять всех коррупционеров и воров. А кто же тогда останется? Но меня занимают не эти анекдотичные сюжеты, а другой, человеческий сюжет. Как-то Владимир Вольфович проговорился о своей печали, о своей вине, что так и не купил старой матери белые кроссовки, какие просила она незадолго до своей смерти. Он обещал, да постоянно занят был, не удосужился выполнить её, хоть и странное, детское, но всё же последнее желание.

Однако речь не о нём, а о Виталии Старкове и просторовцах. Виталий Васильевич заведовал отделом критики в журнале «Простор», где и я работала с 1981 года. Немного прихрамывая, Старков входил в редакцию – и сразу становилось светлее, и закручивалась воронка жизни. В журнале было несколько хромцов: Старков, Валерий Антонов и Вениамин Ларин. Поэты тут же сочинили шуточный стишок:

*«Литература «Простора» хромает – / Это уже не секрет! / Пишет поэмы и перья ломает / Левою ногою поэт. / Но всем известно – любому невеже: / Лермонтов гением стал, / Хоть хромоват был, упав на манеже, / Байрон – он тоже хромул!»*

Надо сказать, тогда, в 80–90-е годы, в «Просторе» собрался интересный ряд: Павел Косенко, написавший занимательные книги о Достоевском, Павле Васильеве, Антоне Сорокине, Всеволоде Иванове и других известных сибирских писателях. Виктор Мироглов, с его оригинальной прозой, человек бывалый: он привёз с Севера, из тундры, охотничьи бивальщины, и мы любили их слушать, особенно когда Виктор входил в писательский раж и рассказывал в красках, иногда солёным языком: например, о том, как судили русского геолога Ваньку за разврат, но за него вступились все красные яранги, вся женская часть тундры: мол, чукчу лучше судите, потому что Ванька ого-го-го какой мужик в постели, как олень, а чукча, как заяц. Не отдадим Ваньку! Два поэта, два Валерия – Антонов и Михайлов – тет-а-тет – день начинали с разговора на французском языке, который освоили самостоятельно, и в утренних беседах шлифовали, сравнивая прононсы. Некоторые из просторовцев прославились в России, как и ставший впоследствии (в 2000-е годы) главным редактором журнала Валерий Михайлов. Служили в журнале Анатолий Загородний, Вера Галактионова, Вячеслав Киктенко – ныне тоже известные и даже знаменитые российские писатели, а также

Шахимарден Кусаинов и Константин Гайворонский. Шахимарден много лет занимался толкованием хикметов святого суфия Ахмеда Яссауи, который жил в Туркестане, бывшем городе Яссы. Он вырыл в земле себе келью и предавался молитвам, достигая божественных прозрений; открыл Шахимарден русскому читателю – как переводчик – и новатора казахской прозы Жусипбека Аймаутова, написал книгу о Чокане Валиханове. Шахимарден по профессии врач и очень остроумный человек. Когда другу его собирались делать операцию, и друг не много трусил, Шахимарден его замечательно взбодрил: «Хирург ведь казах, правильно? А все казахи хорошие хирурги, потому что с детства умеют разделять баранов и хорошо знают анатомию!» А Константин Гайворонский «разделявал» литературно-историческую тему: Пушкин, Мицкевич, русские цари. Были и другие писатели – всех называть не стану, только некоторых ещё вспомню – ради «весёлых мемуаров».

Исправно приходил на работу в редакцию странноватый человек Саша Соловьёв. Он писал стихи и не только. Например, написал два романа – на французском и на китайском языке, не зная ни французского, ни китайского – писал со словарём. Показал свои сочинения посольским людям, после чего оба посольства спешно переехали в Астану (ныне город Нур-Султан). А потом Саша, остыв к китайцам и французам, изобрёл новый способ сочинительства: нарезал газетные строки, перемешивал их и затем хаотично складывал тексты, что получалось – называл прозой. Так был написан рассказ о поэте Жуковском «Жужа». Боюсь, как бы бедный Жуковский не застрелился на том свете.

Большим выдумщиком был и другой сотрудник «Простора», Евгений Гусялов: он составил две своих книги – о Пушкине и Лермонтове – исключительно из цитат этих поэтов. Получилось весьма оригинально и занимательно. Книги имели успех. Спустя время, переехав в Москву, Женя написал уже «нормальный» роман, своими словами – о женщинах Достоевского. Роман умный и глубокий.

Саше Соловьёву умные романы писать было скучно. Он писал – безумные. Как-то, разомлев в сауне, моя подруга и поэт Лида Степанова открыла мне секрет: «А ты знаешь, что Саша Соловьёв – инопланетянин?» Ну, это тогда многое объясняет! Толку от Саши, как от редактора, в журнале не было, он вообще с девяти до шести писал стихи или читал «Улисса» Джойса, отодвинув в сторону чужие рукописи. (И я его понимаю: Джойс куда как интереснее наших графоманов!) Главный редактор «Простора» Толмачёв, обнаружив это, нашёл Саше применение: Саша стал покупать от редакции венки, если кто-то умирал, и писать некрологи в газеты от имени русских писателей. После этих некрологов некоторые писатели раздумали умирать. Но, несмотря на свою чудаковатость, иногда проблескивали под его пером чудесные строки, осиянные детской улыбкой, где возникали неожиданные образы, иногда не связанные друг с другом, но они создавали музыку:

*«Смеялась девочка в лесах, / Лишь зубки белые блестели / Да капли пели в волосах / Холодным гребешком свирели. / С душистым клевером в венке, / Лягушку привязав на нитку, / Она домой в другой руке / Несла древесную улитку. / Большой олень по следу шёл, / Чтоб только подчеркнуть в ней фею, / И вместо зонтика над нею / Голодный горбился орёл...»*

Лягушку на нитке жалко, но дети и феи часто жестоки. Саша Соловьёв был популярнее нас всех, собирая огромные студенческие залы, где нараспев декламировал свою поэму «Крестовина любви». Его чтение было таким же магическим,

как, наверно, камлание шаманов: оно завораживало, а начнёшь стихи глазами читать – бред. Теперь сочиняет на берегу Гудзона, переместившись в США на своей летающей тарелке: ведь инопланетянин!

И уж кого невозможно забыть, так это дважды главного редактора журнала «Простор» Геннадия Толмачёва, с его «ленинской» картавинкой, с его неукротимым юмором, подогретым градусами. Я не могу припомнить значительных литературных трудов Толмачёва, кроме его публицистически-биографических книг о политиках Кунаеве и Назарбаеве. Зато он оставил богатый фотоархив. Любил сниматься с великими современниками – от папы римского до президентов разных стран. Я тоже виделась и с папой римским, и с президентами разных стран, в том числе и нашей, конечно, страны, но фотодоказательств у меня нет. Глупая! Я всё время снимаюсь не с теми. Был Толмачёв близким другом Олжаса Сулейменова – и о нём книгу написал, а Олжас – на закате своего стихотворчества – посвятил Толмачёву стихотворение «Мальчишество», где есть такие строки:

*«...Стыд обращает гамму слова в ноту, / Стыд превращает музыку в икоту, / Привычный звон алтына – в гром гроша (...) ... / Гордился совестью – чиста, как лик младенца. / «Имейте совесть, – призывал. – Не прячьте!» / Она грубела, никуда не деться, / Чиста она теперь, как руки прачки. / Болит и поет и к дождю, и к солнцу...»*

Был Толмачёв вхож и в дом целительницы Джуны, дружил и с историком Афанасьевым, приглашал его к нам в «Простор», и мы слушали блистательную лекцию московского профессора. Там было много смелого, скрытого от нас прежде – кипели разоблачительные, ярые 90-е годы. Открывались архивы, а Афанасьев как раз был ректором Московского историко-архивного института. Каждую планёрку Геннадий Иванович начинал с решения глобальных проблем: «Давайте думать, что нам делать с чёрными дырами в космосе и парниковым эффектом?» Или: «Надо что-то решать с усыханием Аральского моря!» И он тут же произносил пространный монолог по каждой из мировых проблем, только после этого мы приступали к рабочей текучке журнала, которая тоже нередко подбрасывала нам анекдоты. Например, одно время заведла поэзии Антонову досадила графоманка, требуя публикации своих стихов, типа: «*Солдат в штанах, в заветном месте, / Хранил портрет своей невесты*». Антонов никак не мог от неё избавиться. Как-то пришла она снова, прорвалась к Антонову. Тут вошёл редактор прозы Владилен Берденников – мы его звали «Бердеша», слегка под шафе. Говорил о себе, что был карагандинским шахтёром – тогда в литературе приветствовались люди рабочих профессий. На самом деле он был газетчиком, просто романы писал о шахтёрах. Один назывался «Тёплая земля», и на него немедленно, Антоновым, была написана пародия: «*Сказал Берденников, бровями шевелия: / “Пусть будет духом всем вам «Тёплая земля»!*”» Графоманка стояла к «Бердеше» спиной, и он принял её за нашу корректоршу, которая флиртовала с редакторами, обнял сзади и стал целовать. Графоманка так была впечатлена новаторской «работой с авторами», что тут же оставила в покое Антонова и перекинулась на Берденникова. Как уж он её угомонил, не знаю, но журнал был спасён. А то пришёл из Талды-Кургана, пешком, другой автор – с рюкзаком рукописей о своих связях с инопланетянками. Дошёл к ночи, потому переночевал на газоне в сквере у СП. Утром был у нас, весь в муравьях

и пухе одуванчиков, грохнул на стол Толмачёву свой рюкзак. Кое-что из этого рюкзака Толмачёв напечатал, а то ведь был случай, когда такой же автор выкинул несговорчивого редактора в окно. Благо, это был первый этаж, и редактор не сильно пострадал. Так что работа наша была опасной, но никакой добавки к зарплате – за вредность – нам не давали.

Не все авторы были довольны работой журнала: кроме рукоприкладства, некоторые ещё грозили нам судом, когда в Казахстане победила демократия, и начался дикий капитализм. Например, молодой капиталист, владелец птицефабрики в пять кур, отстаивал в суде свои авторские права, которые нарушил редактор «Простора», самовольно поправив несколько строк в «гениальном» произведении капиталиста. Произведение называлось «Поэма про курей», и навалил поэт строк двести. Помню одну строфу:

*«Среди лесов и средь полей / Я слышу голоса курей. / Меня волнует куриий дух  
– / От кур летит и прах, и пух!»*

Чтобы от журнала тоже не полетел «прах и пух», пришлось певцу «курей» заплатить компенсацию – за вред здоровью, нанесённый его Музе, которой требовалось лечение у психиатра. И только один стихотворец порадовал: он добровольно забрал свои стихи и попросил выдать ему справку, что он не поэт. Оказывается, «не поэт» работал в органах МВД, был правдолюбом и боролся против оборотней в погонах. Эмвэдэшное начальство не знало, как от него избавиться: он был безупречен в службе – не подкопаться. Но на свете нет невинных – наши суды это отлично знают! И вот обнаружилось, что борец пишет стихи. Ага, попался! Раз пишет стихи – значит, сумасшедший: таким не место в органах! Нормальный человек писать стихи не станет. Совершенно справедливое замечание! Борцу грозило увольнение, вот он и примчался к нам и попросил справку, что он не поэт, и мы ему такую справку выдали. А какие были стихи! Почти пушкинское начало: «Нет правды на земле, но правды нет и выше...», и рифма крепкая:

*«Нет! Правды нет нигде, / И людям стыд неведом! / Я вышел по нужде – /  
И был убит соседом. / Да где же наш Закон? / Сосед не сел на нары, / И в руки  
взят не он, / А взятка от волчары!»*

Кроме ошибок в текстах и судебных разбирательств с графоманами старшее поколение волновали ещё распри между литературными группировками, и всякий раз знаток Гражданской войны, написавший книгу «Атаманщина» – о разгроме белого атамана Анненкова и суде над ним в Семипалатинске, Юрий Михайлович Рожицын предлагал решать вопрос радикально:

– Зарядить пулемёты и стрелять!

Мы же, молодое поколение, посмеивались над стариками и в их разборках не участвовали. Виталий Васильевич Старков был человеком горячим, спорил с Рожицыным, из искры возгоралось пламя. Пыль стояла до потолка! И всё же на планёрках столько было интересных литературных диалогов, обсуждений новых книг. Геннадий Иванович Толмачёв часто ездил в Москву, быстро сходил со знаменитостями того времени, выманивал у них рукописи, и в «Просторе» появлялись интересные публикации. Тираж «Простора» в те годы достиг небывалых высот, особенно после публикации романа «Советник вождя». Подписчики были не только в Казахстане, но и по всему СССР. Роман так себе – и написан плохо, и полно вранья, но пришёлся ко времени и читателям нравился.

## За красными флажками

Старков любил умные разговоры, и для этого собирал у себя дома друзей. Физический недостаток не помешал ему, пареньку из провинции, из прииртышского городка Семь Палат, закончить ВГИК, стать отличным прозаиком, соблазнить красавицу Майю, которая оказалась замечательной женой и центром наших дружеских пирушек, балуя нас необыкновенно вкусной едой. Редкая была мастерица! Иногда писателям всё же везёт на хороших жён, которые терпят их, а также их друзей, ухаживают за мужьями, как за малыми детьми, и не бросают до конца жизни.

Особенно близкие отношения были у Старковых с поэтом Олегом Постниковым. Олег посвятил Виталию Васильевичу стихотворение «Охота». Мы тогда щедро посвящали друг другу стихи – и серьёзные, и шуточные, но неизменно полные любви.

*«Который день – и глухо, и щемяще – / Идут в ночи осенние дожди. / Звони мне чаще, друг, пиши мне чаще, / И от меня ответных писем жди. / Я напишу... И это будет скоро. / Я напишу, ты жди... Я напишу – / О том, как, обманув собачью свору, / Матёрый волк бредёт по камышу. / Он слышит голоса неподалёку. / Собачий лай доносится, и он / Ползёт всё дальше, в камыши, в осоку, / Ползёт, зажатый с четырёх сторон. / Но впереди – в цепи стрелков нечастой – / Уже стволы восходят не спеша. / И ткнётся, серый, головой лобастой / В сырое корневище камыша. / А над землёй разговорится эхо, / Слетая с чёрных крон карагачей, / Приветствуя осеннюю потеху / Затянутых в кожан бородачей. / Они гуськом пройдут по следу лета, / И каждый сдвинет на ухо берет... / Я напишу когда-нибудь об этом. / Я напишу... А, может быть, и нет...»*

Олег не знал тогда, а, может, и догадывался – задолго до печального финала – что писал о себе, о своей трагической судьбе, которая загонит его в угол, за «красные флажки» большой охоты. Да и судьба Старковых была печальной: они умерли на чужбине, в маленьком израильском городке, в доме, огороженном высокой стеной. Из окна видны были только одинокое лимонное дерево да часть белой пустыни, раскалённой от зноя. Виталий Васильевич жаловался мне по телефону:

– Тоскую... Только теперь понял, как был счастлив раньше, как вы счастливы – у вас есть свой дом, а мы скитаемся по чужим углам. Мало кто может купить жильё – здесь очень дорого. Пол каменный, зимой нет отопления – дорого, до двенадцати градусов тепла доходит, надеваю на себя пять чапанов, что мне подарили казахи. Пригодились! Самая распространённая болезнь тут – суставы, от каменных полов и холода. Летом же я задыхаюсь от зноя, с моим-то давлением... Ничего не пишу – онемел я тут...

Дочь Старковых, врач-стоматолог, которая и сманила родителей на чужбину, денег на свою квартиру всё же накопила, но отец всё равно тосковал. Он так любил многолюдье, горячие споры с друзьями – большой был спорщик! Теперь же пребывал в полном одиночестве и молчании, таком, что голос пропадал. Он тосковал по городу детства – Семипалатинску (мы с ним земляки): по рыбному Иртышу, по долгим гудкам пароходов, по ивам плакучим, свесившим свои зелёные косы в бегучие воды, по горьковатому, смолисту воздуху соснового бора, по сестре своей – степенной, крестьянского склада,

с большими, привыкшими к тяжёлой работе, руками. Они пахли деревенским хлебом, какой мать пекла им в детстве: белый каравай, смазанный сметаной, отчего корочка была особенно вкусной. А ещё пеклись пироги с томлёной в русской печи калиной. Рясный калиновый куст рос под окном, собирал пчёл и разных жужжалок.

– Красота-т какая! – говорила мать. – Из окна нагуляшься!

Тосковал по русской речи: на ней густо настоена проза Валентина Распутина и казачьи страницы Михаила Шолохова. Старков читал книги, вывезенные с родины, и всё время болел, не выходил из своего заточения. Маечка, поначалу счастливая от воссоединения с единственной дочерью и внуком, от терпкого запаха своей прародины, от её древних памятников и холмов, тоже потом заболела – как Виталия похоронила. Она любила его всю жизнь: с девичьей пылкостью и материнским страхом. Он ведь был болезненным, отравленный семипалатинской радиацией, и Маечка по часам давала ему лекарства, не позволяла пить, курить, есть вредную пищу. Иногда он уставал от её опеки и выпрыгался. Однажды зимой, в сильный мороз, прибежал к нам в домашних тапочках и лёгком болоньевом плаще, совершенно пьяный. Орал на весь подъезд: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня!» Мы никогда не видели его таким, и даже испугались. Отпили его чаем с мёдом. Позвонили Маечке. Она примчалась с тёплой одеждой: укутала, потащила в такси, поминутно целуя и радуясь, что он нашёлся. А он орёт: «Ой, мороз, мороз! У меня жена, ох, ревнивая!..»

Умерла она в страшных муках, от рака головного мозга, и всё время звала Виталия...

## Виктор Бадиков

Сходились мы на весёлых вечерах и у Виктора Бадикова – известного критика, профессора филологии. О многих написал он добрые статьи и многих молодых писателей открыл. И даже у заведомо слабых поэтов, в их «пустой породе», умудрялся находить крупинцы золота и тем давал им шанс на развитие, на жизнь в литературе. Когда-то, ещё до Мирабо, мы с Виктором были слегка влюблены друг в друга, вспыхнул даже короткий роман, но разгореться не успел: его смёл ураган моей кавказской страсти к Салиму, а затем брак мой с Мирабо. Виктор и в других литературных девушек влюблялся, я тут не единственная на его тернистом пути. Он не был красавцем. Лысоватый, с унылым лицом – таких ещё называют «малохольные», правда, фигуру имел спортивную – каждое утро бегал: длинноногий, высокий, худощавый, с европейским шармом, который приобрёл после работы в одном из университетов Польши, откуда присылал мне открытки. Он привлекал женщин, ведь они ценят не только броскую внешность, а ещё и ум, утверждая, что именно в уме у мужчин находится эрогенная зона, а Виктор был хоть и не красив, зато умён. Тут обычно добавляют: «Чертовски умён!», но мы добавлять не станем, чтобы не делать комплимент чёрту. С Виктором всегда было интересно: и о литературе поговорит, и стихи твои похвалит, а заодно и тебя, непременно назвав красавицей, и на пианино сыграет Шопена, и споёт польскую песенку. Ему очень шёл польский, и в его исполнении польский язык звучал бархатисто-магически.

\* \* \*

...«Чистый виноград» было любимым выражением Бадикова, к тому же и Тамара Мадзигон когда-то посвятила стихи ему – «Август» (Виктор родился 15 августа), где пишет о срезанном до срока винограде, будто предвидела ранний уход из жизни – и свой, в 42 года, и Виктора:

*«Каким движеньем виноват, / Каким желанием повинен, / Что незрелый виноград / Лежит в большой моей корзине, / Что этой кисти, ни одной / К своим корням не возвратиться, / И августовскою водой / Не тяжелеет и не опиться... / Пусть август медленно катится, / Боюсь, он всё-таки пройдёт, / И горло песни не споёт, / И не успеет дух проснуться, / И ум не сможет прикоснуться / К тому, что век решенья ждёт!..»*

Но тогда, в 70-е годы, это был ещё расцвет жизни, ещё солнце пылало всюду, ещё встречались повсюду знаки Вечности.

Виноград сам по себе – символ Жизни, Веселья, Радости. Так и казалось: Виктор будет жить долго-долго, ведь и родители его перешагнули за 80 лет. В нём сидел крепкий стержень долгожителя, заложенный природой, но...

...Мы шли печальной цепочкой по склону высокого холма, который всё не кончался. Внизу молчал город, окутанный застывшей немой дымкой смога. Сквозь эти мёртвые облака прорывались иногда похожие на домино высотки, чудовищные сигары теплоцентрали, и над этим, пустынным издалека, городским пейзажем – сиял спокойно и величественно купол церкви святых Петра и Павла. Жёлтая сухая трава ломалась под ногами, зелёной травки было мало, и только кое-где застенчиво белели первоцветы, стесняясь перед голодными пчёлами, что накопили пока что мало мёда. Но солнце горело яростно, солнце обещало и мёд, и жизнь, и вечную – до самой осени! – любовь.

Мы шли по краю глинистого обрыва к городу мёртвых. Ещё у подножия холмов, когда поставили открытый гроб для последнего прощания, под ним примостилась серая кошка, которая неизвестно когда и как очутилась там. Она терпеливо переждала печальный ритуал. Потом крепкие мужчины подняли гроб на плечи и понесли. Кошка побежала следом, прячась в траве и посверкивая жёлтыми глазами. Я понимала, что она здесь в ожидании пищи, которая непременно останется после первых поминок, как только насыпят могилу. Но по своей природе во всём видеть некие тайные знаки и неслучайные приметы, я воображала эту кошку душой нашего почившего друга. Мы оплакиваем его, а он живой, он притворился кошкой, крадёт по траве, распугивая бабочек и кузнечиков, жмурится от солнца, сердится на колочки, рад людям, и я видела улыбку на кошачьей хитрой мордочке. Видения эти примиряли меня с горем, ведь не могло же, в самом деле, так быть, что Вити больше нет на свете. Нет совсем. Нигде. Это немыслимо! Я не верила в это ни одно мгновение, а к тому, кто лежал в красном гробу, относилась как к чему-то совершенно чужому, не имеющему ни малейшего отношения к Вите. Да он и не был на него похож, но как хорошо, что мы собрались, говорим о нём, как замечательно, что есть повод, наконец, так хорошо сказать о нём, выговориться, попросить прощения у него, потому все говорят так долго – и никак не могут остановиться, словно бы нет точки в его жизни. Он жив.

...Он жив. Он просто уехал на море, на Мангышлак, где так чудесно, столько древних памятников, которые Виктор давно хотел посмотреть, о чём советовался со знатоком этих мест, писателем Мосоловым. Мосолов написал историческую

повесть: действие её происходит как раз на казахстанских берегах Каспия. Мосолов подробно рассказал Бадикову, куда следует поехать и что в первую очередь посмотреть. Виктора отправили в командировку от университета в Актау, вот он и обрадовался. Говорят, Виктор погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь из пустыни, с экскурсии, в город. Говорят...

...Пусть говорят! Я-то знаю, что он просто отстал от своей группы и ушёл странствовать в ракушечные пески полуострова, как странствовали степные певцы и монахи, которые жили в известковых белых пещерах, где молились и слагали стихи. Пели белые барханы. Пело белое от постоянного ветра море. И взлетали в горячую синеву небес белые лебеди Каспия, как чистые души этой земли. Я видела всё это так ясно, так зримо, что и сама верила своим фантазиям, потому и не плакала. Грех оплакивать живое! Хотя знала по своему горькому опыту, что горе всё равно настигнет меня, накроет чёрной тучей, выжжет сердце. Столько уже потерь...

...Не помню, когда впервые увидела Виктора, познакомилась с ним. Мне кажется, я знала его всегда. Скорее всего, привели меня в его дом (тогда Виктор жил с женой Наташей и дочкой Катей, в то время резвым и балованным подростком) Тамара Мадзигон, либо Олег Постников, всё в те же 70-е годы. Помню, Виктор играл на пианино, а Адольф Арцишевский пел свой коронный романс: «Отцвели уж давно хризантемы в саду...»

...Виктор нравился женщинам. И сам любил оказывать им знаки внимания. Даже моя мама, которой было уже под восемьдесят, буквально млела и сияла, когда он появлялся у нас – с цветами для неё, и целый день была счастлива, если он звонил. У них были свои взаимоотношения, отдельные от нас с Игорем, моим мужем. Но главная женщина, которая трепетно любила его, была, конечно же, его матушка – Раиса Петровна. Он у неё единственный сын, и она делала всё, чтобы он мог заниматься только своей наукой и творчеством, и обожала его бесконечно. Как-то, показывая мне свою детскую фотографию, Виктор поглядел на себя глазами матери: «Да, я был, действительно, ангелочком!» Казалось, так, как она, о нём заботиться никто уже не сможет, но Судьба подарила Виктору жену милостью Божией, Валентину Николаевну, которая сумела стать ему опорой и помощницей – и в житейских делах, и в творческих (с Наташей он расстался. это был ранний студенческий брак). Мы новую его жену не сразу приняли – не нашего круга, прорабом на стройке работала, грубовата, а потом смирились: она его любила, а мы просто ревновали.

Писательские вдовы – особая категория женщин. Они должны жить долго, чтобы хранить память о своих мужьях. Мы знаем немало примеров, когда именно вдовы писателей продлили их литературный век, а иногда возвращали даже из забвения, сами оставаясь в тени. Их служение любви бескорыстно и равно подвигу. Валентина продолжала служить Виктору и после его смерти, разбирая его архив, готовя его рукописи к изданию. Потом вышли книги.

...Круг критических интересов Бадикова был широк. Он одним из первых стал изучать такое явление, как русскоязычные писатели Казахстана, и многое в этом сложном вопросе расставил по своим правильным местам. Писал учебники для школ. С увлечением занимался живой русской и казахской литературой, выкраивая время у научных изысканий, которые требовали долгой, кропотливой работы, сухого точного стиля и не позволяли отвлекаться на «лирические

отступления», а Виктор жаждал как раз таких отступлений, потому что и сам сочинял стихи, пробовал писать прозу. Но всё – в стол. Обнародовать свои тайные сочинения он решится только на склоне жизни, и то по настоянию своего многолетнего друга Адольфа Арцышевского. Стоило это делать или не стоило – не нам судить, хотя мы судили, и сурово! Если он это писал, значит, было для чего-то нужно, для каких-то, неизвестных нам, замыслов Всевышнего. Всё когда-нибудь выяснится, как и то, кто из нас останется в литературе на долгие годы, а кто будет признан «чернозёмом», сойдёт на нет, выполнив крохотное, но тоже необходимое жизни предназначение. Мы об этом не должны заботиться. *«Не заботься о завтрашнем дне – завтрашний день сам о себе позаботится».*

«Чернозём» придумала Руфь Тамарина. Помню, собратья по перу корили Руфь, когда она написала: *«Я согласна быть чернозёмом / Для поэтов новых и смелых...»* Мол, напрасно она так уж принижает себя, да ещё во всеуслышание. Но Руфь стояла на своём, и стихи о «чернозёме» упорно включала в свои сборники, считая, что вовсе не зазорно быть почвой для других поэтов.

...Слава – девка гулящая, а память – схимница. Память – это архив, где хранятся документы Времени, в которое мы жили. Потомки должны откуда-то черпать сведения о нашем прошлом, чтобы понять своё настоящее и правильно прогнозировать будущее. Это относится и к истории литературы. Мы – были! И это зафиксировано в Слове. Виктор Бадиков много для этого сделал. Он стал ведущим критиком нашей страны, и ушёл в этом высоком звании.

...Живые всегда виноваты перед теми, кого уже нет. Вот и я виноватой себя считаю, потому что обижала Виктора, и сама на него обижалась – злословила, а любое злословие, как и сквернословие – грех. И хотя успела сказать ему, что по-прежнему люблю и каюсь в своих выпадах против него, и он признался в своей неизменной любви ко мне, в дружестве, которые важнее любых житейских недоразумений и глупых ссор, всё равно я виновата...

...И ещё подумала: после тех благословенных вечеров вместе, когда все были живы и так молоды, влюблены друг в друга, все – ещё в начале творческого пути, который обещал блестящие перспективы, – многое изменилось. Литературные итоги получились неодинаковые. Удача улыбнулась не каждому. И лавры достались не поровну и не всем, как и настоящий талант. И посиделки с чтением стихов исчезли. И многие умерли или уехали в чужедальние края. А у тех, кто остался здесь, пути то расходились, то сходились, усложняя теперь уже постоянно сложную жизнь, которая клонится к старости, к ответу перед собой и Богом, где уже нет пощады и радужных обещаний...

## Чистый виноград

...«Чистый виноград» – так Виктор говорил о хорошем вине. И я вспомнила давнюю картинку с «чистым виноградом». В одном крымском селе видела, как делают вино. Там жили греки. Усатый старик в белой расшитой безрукавке и красной феске командовал священнодействием. Женщины несли из сада корзины с виноградом. Они словно сходили с полотен старых мастеров, тем более что окружала их вечная природа, которая ничуть не изменилась с эллинских времён: могучие кроны деревьев клубились тёмно-зелёными облаками, синело море в

прорывах зелени, скалы казались сделанными из воздуха: синие, они парили в синеве, по склонам недалёкого холма струились белые козы и кудрявые овцы, как в «Песне Песней» о прекрасной Суламифь:

*«Волосы твои – стадо коз, бегущих с горы Галаадовой, зубы твои – стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой по два ягнёнка и бесплодной нет между ними. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!»*

Женщины с корзинами были, в самом деле, прекрасны – молодые, гибкие, безлозубые. Весело переговариваясь, переваливали виноград из корзин в огромный чан. Старик в красной феске строго следил, чтобы процесс не прерывался, но в то же время лукавый грек успевал перешучиваться с молодыми гречанками, по-сверкивая огненными очами на крепкие, смуглые ноги селянок. Особенно хороши эти ноги были, когда женщины, подоткнув подолы юбок, ловко запрыгнули в чан и стали плясать, хохоча и распевая довольно «солёные» песенки, а старик в феске только подкручивал усы и ухмылялся при особо смелых куплетах. Молодой паренёк из этой деревни, который вызвался переводить мне греческие частушки, то и дело запинался, пока совсем не сбился и не махнул рукой, густо покраснев: «Простите, но это не переводится!»

Так они плясали и мяли ногами синий виноград, пока не полился из трубы в чане мутный поток земных соков. А потом, как мне объяснили, виноградную реку очищают от разных вредных примесей и мусора, выстаивают в бочках. Сок зреет, как дитя, после чего рождается на свет «чистый виноград» – благородное вино.

Так вот и нас Жизнь мнёт и очищает, отцеживая из наших душ всё мутное и сорное, добываясь «чистого винограда», и особенно это проявляется в минуты потрясений, когда общее горе поднимает нас над обидами и враждой. Поклон вам, ушедшие! Вы сделали нас лучше и чище, жаль только, что ценой своей жизни...

*Окончание следует.*

